INSPIRIA

Затонувшая земля поднимается вновь

Гениальная и тревожащая книга.

ОЛИВИЯ ЛЭНГ, автор книги «Одинокий город»

ПРИЗ **«ГОЛДСМИТС»** за расширение рамок литературной формы романа

КНИГА ГОДА по версии New Statesman

М. ДЖОН ХАРРИСОН

INSPIRIA

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Приз университета «Голдсмитс» за «роман, раздвигающий границы литературной формы». Номинация на премию Британской ассоциации научной фантастики. «Книга года» по версии New Statesman. Вся жизнь Шоу – неуклюжая попытка понять, кто он. Съемная комната, мать с деменцией и редкие встречи с женщиной по имени Виктория – это подобие жизни, или было бы ею, если бы Шоу не ввязался в теорию заговора, которая в темные ночи у реки кажется все менее и менее теоретической… Виктория ремонтирует дом умершей матери, пытаясь найти новых друзей. Но что случилось с ее матерью? Почему местная официантка исчезла в мелком пруду? И почему город так одержим старой викторианской сказкой «Дети воды»? Пока Шоу и Виктория пытаются сохранить свои отношения, затонувшие земли поднимаются вновь, незамеченные за бытовой суетой. «Тревожный и вкрадчивый, сказочно внимательный ко всем нюансам, Харрисон не имеет себе равных как летописец напряженного, неустойчивого состояния, в котором мы находимся». – The Guardian «Это книга отчуждения и атмосферы полускрытого откровения, она подобна чтению Томаса Пинчона глубоко под водой. Одно из самых красивых произведений, с которым вы когда-либо встретитесь». – Daily Mail «Харрисон – лингвистический художник, строящий предложения, которые вас окутывают и сплетаются в поток сознания… каждое предложение – это декадентский укус и новое ощущение». – Sci Fi Now «М. Джон Харрисон создал литературный шедевр, который будут продолжать читать и через 100 лет, если планета проживет так долго». – Жюри премии университета «Голдсмитс» «Завораживающая, таинственная книга… Навязчивая. Беспокоящая. Прекрасная». – Рассел Т. Дэвис, шоураннер сериала «Доктор Кто» «Волшебная книга». – Нил Гейман, автор «Американских богов» «Необыкновенный опыт». – Уильям Гибсон, автор романа «Нейромант» «Автор четко проводит грань между реализмом и фантазией и рисует портрет Британии после Брексита, который вызывает дрожь как от беспокойства, так и от узнавания». – Джонатан Коу, автор «Срединной Англии» «Один из самых странных и тревожных романов года». – The Herald «Прекрасно написанная, совершенно неотразимая книга. В ней, как и во многих других произведениях Харрисона, есть сцены такого уровня странности, что они остаются в памяти еще долго после окончания романа». – Fantasy Hive «Психогеографическая проза Харрисона изысканна и точна. 9.4/10». – Fantasy Book

Review

- Майкл Джон Харрисон
  -
  - Один
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
  - Два
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
  - Три
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
  - Четыре
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

Майкл Джон Харрисон
Затонувшая земля поднимается вновь

Деборе Чадборн

Постепенно затонувшая земля поднимается вновь, и, возможно, вновь падает, и затем вновь поднимается.

Чарльз Кингсли

«Размышления в гравийном карьере»
…некоторые вещи тянутся к воде
и ведут себя иначе, когда находятся возле нее.

Оливия Лэнг. «К реке»[1]

Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся.

Первое послание к Коринфянам, 15:51

M. John Harrison
The Sunken Land Begins to Rise Again

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Copyright © M. John Harrison 2020
First published by Gollancz, an imprint of the Orion Publishing Group, London
© С. Карпов, перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2022

* * *

Один

1
Целый день с мертвецами

После пятидесяти у Шоу началась черная полоса. Так он это формулировал для себя. До тех пор его взрослая жизнь была совершенно нормальной. Он стремился к нормальности. Может, в этом и проблема. Так или иначе, теперь жизнь потеряла направление, и пять лет он провел практически впустую. Годы вставали на свои места, как части шкатулки с секретом, и потом уже не открывались. Он мог внезапно очнуться с полной ясностью, скажем, вечером в многолюдной лапшичной, где беседовал с людьми, которых в первый раз видел, глядя через витрину на улицу, забитую новенькими мотоциклами. А потом все снова ускользало и неделю-две он жил в отрыве от себя.

Лучше всего о том, что с ним происходит, описала его знакомая – одна из нескольких женщин, которые за этот период инстинктивно с ним расстались. Звали ее Виктория, и при встрече с новым человеком у нее была привычка объявлять, что она работает в морге. «А, в этом нет ничего такого, – говорила она расплывчато, как бы ты на это не ответил, – все-таки впервые я увидела труп в четырнадцать».

Мощный заход, особенно в пабе в Хэкни сырым вечером понедельника. У Виктории, сорокалетней дочери врача, были бледно-рыжие волосы, суховатая внешность и подчеркнуто бесстрастный юмор человека, страдающего от высокофункционального романтизма. Она была из тех, кто замечает свою нервозность только отчасти; стоило ей смутно уловить собственное волнение, как она проецировала его на тебя и говорила: «У тебя же сейчас совсем нет на меня времени, да? Слышу по голосу». Сперва это смущало Шоу. Тут нужна особая дисциплина, а то накроет и тебя, а когда сам занервничаешь, начнешь исполнять пророчество, поглядывая на наручные часы. В вечер, когда их познакомили, она много пила и все не замолкала о том, что отец ей когда-то рассказал о подвиде людей, от рождения похожих на рыб.

– Правда, – сказала она. – Рыбы. – И широко распахнула глаза. – Разве не здорово?

Шоу не знал, что о ней и думать.

– Никогда не слышал ничего подобного, – честно ответил он. Больше его заинтересовал морг. – Наверное, это странно – проводить целый день с мертвецами, – предположил он.

На это она ответила с необъяснимой горечью и с таким

видом, словно речь шла о каком-то переломном событии в ее жизни:

– Ну, они хотя бы никогда не отвечают.

Виктория – то ли Норман, то ли Найман, к этому времени Шоу уже забыл, – хотела, чтобы ее на что-нибудь уговорили, но у него из всех тем теперь остались только рыболюди. Ее отец рассказывал, что они живут в Южной Америке или где-то в этом роде. Большинство рождались мужчинами, хотя ген передавали женщины. Они могли жить обычной жизнью, делать все то же, что делают люди. Скрываясь в уединении, в глубоких эстуарных[2] долинах к западу от Анд, они – будучи, возможно, сильнее и уж точно умнее заурядных племен, которые их когда-то изгнали, – образовывали собственные сообщества, и те, хоть и маленькие, выживали и даже процветали.

– Если это правда, – сказал Шоу, – почему их мало? Почему я никогда их не видел?

Виктория рассмеялась так, как смех записывают в интернете: ха-ха-ха-ха.

– Потому что мы не в Южной Америке, – напомнила она. – Мы на Коламбия-роуд. И вообще, он просто подшучивал над своей девочкой. – Она с намеком постучала пустым стаканом, а когда Шоу вернулся от бара, добавила: – А может, ты и *видел*. Может, все мы рыболюди. В том или ином смысле.

Они встречались еще пару раз, переспали, спорили так, как люди спорят, когда больше чем нравятся друг другу; но когда однажды вечером в «Сперстоу Армс» Шоу попытался перевести отношения на какую-то постоянную основу, ее только передернуло. «Ты вроде бы хороший человек, – сказала она, ненадолго взяв его за руку над столом с пустыми стаканами и остатками картофельных равиоли с лесными грибами, – но ты забываешь, что такое жизнь». Правда ли, спросил он себя. Если да, ему-то как узнать? Как в таком случае работает эпистемология?[3] На улице шел дождь. В паб со смехом вбегали и выбегали люди, с куртками над головами. У Шоу сдали нервы, продолжала говорить Виктория, а ей своих переживаний хватает, чтобы справляться еще и с чужими. «Если честно, никогда не встречала человека в такой панике». На тот момент ее диагноз показался не столько обидным, сколько бессмысленным. Впоследствии Шоу еще не раз оценит его меткость. А жизнь между тем внезапно закрылась, как дешевый занавес, и они уже почти не виделись.

Страдал Шоу не из-за нервного срыва. Для кризиса среднего возраста было уже как-то поздновато. Дело было не в чем-то таком предсказуемом. Может, думал он, в жизни просто бывают

вот такие периоды отката; может, нельзя все время жить в полную силу. Стоило ему от этого освободиться, как он перенаправил себя, будто посылку, настолько далеко от Хэкни, насколько это человечески возможно; рванул к юго-западу от Хаммерсмитского моста в тихие пригородные пустоши между Ист-Шином и Темзой, ограниченные с одной стороны Литтл-Челси, а с другой – Шинлейн. Там он и снял комнату в георгианском домике, где пахло собаками и чем-то жареным.

2
Выброшен волнами

Рядом с Уорф-Террас[4] не было верфи или каких-нибудь намеков, что она когда-то была. Аутентичный георгианский фасад, как встарь, тянулся на пол-улицы, но вот дома за ним уже давно нарезали на ульи из комнат с низкими потолками. Шоу снял комнату с мебелью в доме 17, на самой верхушке. Почти все место в ней занимали одноместная кровать и худосочный шкаф, пахло комиссионкой. Он думал, что в лучшие времена здесь был коридор или какая-нибудь лестничная площадка рядом с более просторной комнатой. Из окна виднелась между зданиями Темза, над которой по утрам поперек приливной волны висели завесы дождя. За домом был садик, заросший пыльной буддлеей.

Дом 17 отстоял от реки слишком далеко, чтобы до него доносило туман; и все-таки в нем всегда было как-то сыровато. Здесь все казались съемщиками. Большинство – такими же зависшими по жизни, как и Шоу. Они заезжали и через неделю съезжали. У костяка постоянных жильцов шел первый этап карьеры в Хаммерсмите или Фулхэме: может, здесь они проживут дольше других, но в конечном счете такие места не определят их образ жизни. Когда придет время, эти люди переберутся не дальше, а выше – в комнаты получше, в собственные коттеджи, в провинцию. А пока что они сами перенимали запах дома. И накладывали поверх него свой букет ароматов мыла, дезодоранта и чего-то еще, что Шоу не мог назвать иначе как запахом успеха. Мужчины носили безукоризненные костюмы «Пол Смит» и рубашки «Тед Бейкер» из Ковент-Гардена; женщины были сплошь менеджерами среднего звена в «Маркс и Спенсер»: работа на износ, говорили они, зато там ни о чем не приходится волноваться. В шесть утра они отправлялись на ежедневную семикилометровую прогулку в Ричмонд-парке – все с идеальной походкой, пилатесовым равновесием, худые, как керамический нож, в термобелье из бамбука и компрессионных колготках; по выходным – бассейн и велосипед.

Местные женщины в особенности являли для Шоу парадокс: с одной стороны, его для них как будто не существовало; с другой – его ретро-рубашки для боулинга, подростковые джинсы и поношенные скейтерские кроссовки, очевидно, раздражали. Когда Шоу натыкался на них по вечерам на лестнице, стоящих по две-три, его готовую улыбку не замечали, а разговор продолжался, только когда он уходил. Он другого и не ожидал.

Шоу с самого начала заметил, что в комнате по соседству творится что-то неладное. В первый день – пение во все горло, которое у него смутно ассоциировалось с «Радио 4»; потом – стук, отдавшийся даже в его половицах; и голос, отчетливо сказавший «Проклятье!», после чего последовала не менее громкая тишина. Затем снова пение – или, может, всхлипы. Шоу улыбнулся и продолжил разбирать багаж. Он уже успел привыкнуть к бумажным стенам и к тому, что из-за них слышно.

Много времени распаковка не заняла. Он привык и к этому. Из дискредитированной жизни в период до его кризиса, какой бы она ни была, Шоу спас пару помятых картонных коробок с неопределенным содержимым; остальное – только одежда, да и та, даже если складывать кое-как, не заполняла восьмилитровую брезентовую сумку целиком. Футболки со слоганами из мира IT и застиранное нижнее белье «Мудзи» прослаивались всякими важными бумажками – налоговыми формами, чеками, уведомлениями об увольнении от того или иного кадрового отдела. Еще он нашел дорожные часы, смартфон второго поколения, у которого батарея не держала заряд, и два-три нечитаных романа из «современной классики», в том числе «Воришку Мартина».

Достав и реабилитировав, что получилось, Шоу отправился знакомиться с соседями. Без ответа: хотя, когда он постучал, померещилось, будто дверь дернулась, словно жилец сперва потянул ее на себя, а потом передумал. На лестничной площадке стоял холод. Через зарешеченное оконце просачивался слабый речной свет. Слышалось, как на Мортлейк-роуд нарастает шум вечернего движения. Шоу приложил ухо к двери.

– Эй? – позвал он. Заметил, что вдоль всего плинтуса в штукатурке идут вмятины и царапины, будто давным-давно каким-то скучным днем кто-то обходил площадку и методично пинал стены. Устав от одной мысли об эмоциональной отдаче, которую наверняка потребовало такое предприятие, Шоу ретировался к себе и там представил, как в сумрачной соседней комнате на краю кровати сгорбился силуэт в рубашке и трусах. Кто-то вроде него самого, размышляющий, открывать дверь или нет.

Неделю-две так все и продолжалось.

Он снова стучался. Приклеивал к двери офисным пластилином записку – «Привет, я недавно переехал в соседнюю комнату», – и взял в привычку поджидать у своей двери, пока на площадке не послышится движение, и тогда резко открывать. После такой засады удавалось заметить только уходящую спину. Но вообще движение на лестнице было, особенно по ночам.

Повышенные голоса. В два ночи кто-то ронял на площадке что-то тяжелое, а внизу в это время кто-то не отпускал звонок или неразборчиво кричал с улицы. Соседнее окно с долгим кряхтеньем поднималось в раме, покоробленной за многие годы речным туманом. На следующий день Шоу мог заметить на площадке фигуру, спешившую к общей ванной, которую затем занимали дольше, чем может понадобиться нормальному человеку; внутри потом всегда стоял запашок. Все это казалось удивительно старомодным. Поведением из пятидесятых или шестидесятых годов прошлого века, когда строгая, хотя и отживающая свое общественная мораль вынуждала съемщиков однушек по всему Лондону, от Эктона до Тафнелл-парка, жить, будто в каком-то тайном сне, хотя сейчас такая жизнь считалась совершенно нормальной.

На юго-западе Лондона Шоу было удобно. Здесь уже проживала его мать – в доме для больных старческой деменцией на другом конце Туикенема, по шоссе A316.

В свой первый приход после переезда Шоу застал ее в общей комнате на первом этаже, стоящую с таким видом, будто она только что от кого-то отвернулась, – высокая угловатая женщина в кашемировом комбинезоне и шерстяной юбке цвета вереска, слегка ссутулившаяся, уставившаяся в окно на пустой сад. Она повторяла: «Дни пролетают так быстро. Просто дни пролетают так быстро», – а плечи у нее как будто свело от чего-то среднего между страхом и гневом. Шоу уговорил ее подняться к ней в комнату и там сидел и держал за руку, пока она не успокоилась. Впрочем, даже тогда мать не обращала на него внимания – только встала посреди комнаты и прошептала:

– Сейчас на улице хорошо. Пойду займусь садом.

– Да ты присядь сперва, – пытался убедить ее Шоу.

– Не дури! – закричала мать. – Не хочу я садиться. Я займусь садом, но сперва найду сапоги.

– Иди сюда и сядь, а я попрошу принести нам чай.

Она отвернулась от него всем телом и пожала плечами.

– В молодости я бы в жизни такое не надела, – рассеянно произнесла она.

– В это я верю, – ответил Шоу.

– Нам не принесут чай. Нечего и ждать чай в такой час.

– Давай все равно попробуем. Посмотрим, вдруг получится.

– Ох, где же мои туфли? – спросила она себя голосом четырехлетней. С отвращением взяла свою юбку за подол. – Где мои красивые туфли?

Как оказалось, нет ничего проще чая.

– Вот видишь? – сказал Шоу. – Нет ничего проще.

– Люди только рады услужить, когда им хочется.

Чай пили молча. Часто ее было трудно разговорить, всегда – трудно понять, на какую тему с ней разговаривать. Ему казалось, она ждет, что он начнет вспоминать с ней прошлое, – но только начнешь, как она горько смеялась и смотрела в стену. «Тот раз, когда меня пропоносило по дороге домой из школы, – помнишь? Как же ты ругалась!» Те слова, которые ему бы сказать хотелось, в итоге так и не шли. Их отсутствие только больше наполняло комнату гневом. Шоу казалось, он должен рассказывать ей новости, но в итоге не понимал, что за новости-то – на какую тему. К примеру, связь с родней Шоу не поддерживал; как, подозревал он, и она. Семья для них обоих была темой деликатной. Пересказывать новости страны казалось неуместным. В итоге он всегда возвращался к своим собственным; все равно она по большей части не слушает, знал он.

– Новое жилье, – начал он, – мне там нравится…

– Моя мать была настоящей христианкой, – сказала она внезапно. – Но с нами – никогда. С нами – никогда. – Стоило матери завладеть его вниманием, как она аккуратно поставила чашку и отвернулась к окну. – Скоро пойдет снег.

Шоу тоже поставил чашку. У чая был металлический привкус, словно он разъедал ложку.

– Так май же, – напомнил Шоу.

– Люблю снег. В нашей молодости снежинки падали в море, большие, как пенни, – а потом не совсем своим голосом: – Я очень быстро разлюбила родителей. Они меня унижали, когда мне еще и пяти не исполнилось. Я была милой смирной девочкой, но нервной. Все время нервничала. Любила пляж. Любила рыбалку. Любила рано вставать и поздно ложиться. – Она пренебрежительно усмехнулась. – Слишком волновалась в одиночестве, слишком волновалась в компании. Лучше всего мне было с кем-нибудь наедине. Я боялась отца и очень боялась деда. Дед подарил мне свою старую удочку для морской рыбалки, но рыбачить мне больше нравилось с дядей. – Ее лицо преобразила широкая улыбка. – Снег на море!

– Лето же, – сказал он, – снега не будет.

Она смотрела в окно и тихо улыбалась.

Шоу попробовал еще разок.

– Мне нравится в новом жилье, – сказал он, – но там грязновато. – Он уже начал избегать ванную: она была без окон, с виду больше, чем позволяли размеры лестничной площадки, и освещалась сорокаваттной энергосберегающей лампочкой, заполнявшей помещение ровным желтовато-бурым сумраком.

Посреди протертого линолеума в шахматную клетку стояла старомодная чугунная ванна – со сколотой эмалью, с затвердевшим у кранов известковым налетом и несмываемой отметкой уровня воды – какого-то химического вида. Была там и отдельная душевая кабинка. Включишь кипяток – из слива тянет плесенью.

– Когда я зашел в туалет в первый раз, мне показалось, я что-то увидел в унитазе! Решил, что ноги моей там не будет, пока лично все не вычищу.

Он и ванну пытался вымыть – перед тем, как постирать в ней нижнее белье в вечер пятницы, когда дом вроде бы опустел. Приливная линия так и не поддалась – медьсодержащая, скользкая, запечатлевшая какое-то таинственное половодье.

– Тебе сколько лет? – спросила мать. – Пора бы уже вырасти.

Шоу пожал плечами.

– Не валяй дурака, – предупредила она. – Не жди, пока начнется жизнь. Я вот вечно ждала, когда она начнется. Мне все подряд казалось удачным началом, а потом оказалось, что это и есть жизнь.

– Это у всех так, – сказал Шоу.

– Правда? Все так живут, значит?

Какое-то время оба молчали. Она смотрела на что-то в саду. Шоу смотрел на нее.

– Все, что должно было случиться в двадцать лет, – продолжила она, – у меня растянулось на всю жизнь. Мне семьдесят пять, а я только-только накопила достаточно, чтобы, наконец, начать. – Потом она села, набрала в рот чай, наклонилась над столом и – глядя Шоу прямо в глаза, как младенец, – выпустила чай струйкой на скатерть. – Что мне теперь осталось? – спросила она. – Вот ответь.

Он ненавидел ее моменты просветления, но они всегда были ненадолго.

Когда он поднялся, чтобы уйти, она уже опять смотрела в окно. Дождалась, пока он прикроет дверь, и тогда сказала удивленным голосом:

– Джон! Джон! Не уходи! – но только он вернулся, как снова завела свое «Дни пролетают так быстро», – пока он не пожал плечами и не закрыл за собой.

– Я не Джон, мам, – сказал он. – Не угадала.

Согласно политике дома престарелых, персонал обращался к своим подопечным по имени; но его мать всегда называли «миссис Шоу».

Он нашел у себя в комнате телефонную розетку и оплатил

связь. Через несколько дней телефон зазвонил, и голос в трубке спросил:

– Это Крис?

– Крис здесь не живет, – ответил Шоу.

– Его нет? Криса?

– Видимо, вы ошиблись номером.

Голос назвал номер, но Шоу разобрал его только наполовину.

– Крис здесь не живет, – повторил он. – Вы по поводу телефона? – Без ответа. – Думаю, вы ошиблись. – Когда клал трубку, расслышал, как голос сказал: «Видимо, я ошибся номером». И тут же начал переживать, что, ослышавшись и не узнав кого-то знакомого, пропустил свой первый звонок на новом месте. Снова снял трубку и набрал 1471 на случай, если получится узнать номер, с которого звонили. Перебрал вещи в поисках записной книжки, которая, как он думал, у него есть, но это оказался дневник десятилетней давности с записью от 1 января: «Будь общительней».

3
Рыбка-талисман

В тот же день он позвонил Виктории Найман.

– Здравствуй, незнакомец, – сказала она. – Что там с тобой происходит?

– А что там с *тобой?*

– Да не особо что. – Она ненадолго задумалась. – Машину вот купила. Это же здорово, да? Я всегда хотела машину.

И после паузы:

– Ты в порядке?

Шоу сказал, что в порядке. Пришлось признать, что у дома, где он теперь живет, есть свои минусы – не смог промолчать насчет унитаза, шума из соседней комнаты, – но зато рядом река, а он как раз увлекся ее психогеографией. Он много гуляет, рассказывал Шоу Виктории, продвигается дрейф за дрейфом[5] на север по Брент: от лодочных верфей у ее слияния с Темзой, мимо Уорнклиффского виадука и зоопарка, в сторону шоссе A40 у Гленфорда. Там сплошь больницы и спортивные парки, грязь и детоубийства. «Но и пабы удивительно хорошие». Виктория выслушала отчет молча; потом заявила, что – по крайней мере, на ее взгляд, – он какой-то подавленный. Сегодня он ничем не занят? Потому что она без проблем может заехать после работы – может, завезти какой-нибудь подарок на новоселье? Шоу сказал, что не надо, ей же это крюк, не стоит того, у него правда все нормально.

– У меня правда все нормально.

– С чего ты взял, что для меня это крюк? – спросила Виктория и добавила: – Поверь, судя по голосу, тебе хреново.

– Ну спасибо.

– Не благодари, пока не увидишь подарок.

– Я сперва услышал, будто ты сказала «на невеселье», – сказал Шоу.

– Жди меня в семь или, если будут пробки, в полночь.

Вдруг заволновавшись, он предложил:

– Давай тогда встретимся не у меня. Давай где-нибудь еще.

И они пошли в паб на Кинг-стрит в Хаммерсмите, потом перекусили форелью тандури у индуса на рынке чуть севернее «Премьер-Инн». Виктория как будто нервничала.

– Как тебе моя прическа? – спросила она.

Какие-то прореженные волосы, с центральным пробором, срезанные с каким-то искусственным непрофессионализмом чуть

выше подбородка, они жидко липли к лицу и лбу, устало кучерявились на концах.

– Нео-«синий воротничок», – сказала она. – С некоторых ракурсов смотрится очень выгодно, хотя уже вижу, что ты не согласен.

За вечер она опустошила бутылку домашнего красного – «Не на что смотреть. В этом без изменений», – и рассказывала о своей машине. Шоу сказал, что остановится на пиве. Когда он признался, что из него никудышный водитель, она опустила глаза на обугленные хвосты и окрашенные в красное останки рыбы в тарелках, на прозрачные кости, напоминающие окаменелые отпечатки листьев, и сказала:

– А из кого кудышный? Дело не в вождении. Теперь я часто выбираюсь к морю. – Она рассмеялась и неловко изобразила, как крутит руль. – На север и на юг. Гастингс и Реден. Очень медленно. И Данджанесс, конечно.

Потом:

– Кажется, я переросла Лондон.

И наконец:

– Мне нравится, как выглядят позвоночнички у этих рыбок, а тебе?

– Я вижу только одно, – сказал Шоу, у которого почему-то полегчало на душе, – свой ужин.

Потом признался:

– Когда мы встречались в последний раз, я был не в лучшей форме.

– Мало что изменилось. – Она рассмеялась над его выражением лица. – Да брось! Понятно, что кто бы говорил! Я-то уже с тринадцати не совсем в своем уме…

Шоу подлил ей еще.

– Это тогда ты увидела труп? – спросил он с надеждой.

– Хотя у меня наступал момент просветления – где-то в 2005-м, в сауне. – Она оглядела ресторан с таким видом, будто ожидала увидеть знакомого. – В конце концов в плане просветлений привыкаешь брать, что дают. Людям нужно ощущение, что они остепеняются.

– Да, это штука важная, – согласился Шоу, хотя понятия не имел, о чем это она говорит. Виктория все равно его, похоже, не слышала.

– Вообще-то я даже не уверена, что это стоит называть просветлением, – сказала она и добавила: – Кстати об этом, как там твоя мать? – А потом, не давая времени на ответ: – Знаю-знаю, тебе не хочется всем этим заниматься. А кому захочется? Моя вот совершенно слетела с катушек в тот же день, когда умер

мой отец. Если честно, после этого мы с ней почти не виделись. Я жила здесь, она – по-прежнему где-то в Мидленде, на севере. Мне казалось, у нее – своя жизнь, у меня – своя.

Он тут как раз думал на эту тему, ответил Шоу, и решил, что одни семьи держатся вместе, а у других – скорее баллистические традиции. Вторые очень быстро разучиваются терпеть и прощать друг друга. Не в силах уладить конфликт, члены семьи разлетаются в стороны, заводят себе новую жизнь. Но и она не приживается.

– Они, – говорил он, – теряют способность поддерживать любой миф, кроме своего собственного.

Виктория уставилась на него так, будто он ненадолго стал интересным незнакомцем. Потом сказала:

– Они оба уже умерли.

Виктория слишком много выпила, чтобы садиться за руль. Ее машину они оставили в Хаммерсмите, где она припарковалась, а сами прогулялись пешком вдоль реки до дома 17 по Уорф-Террас. Там она деловито обошла комнату, словно пришла купить подержанную мебель.

– Кровать что-то маловата, – сказала она, весело глядя на него. Перебирая книжки, нашла Джона Фаулза; скривилась. – Не может быть, чтобы он тебе нравился. Не верю. – Потом: – А вот и пресловутая общая стенка! – Она постучала по ней костяшкой, словно проверяла древнюю штукатурку на прочность. Приложила ухо. – Сейчас он вроде бы затих, твой неведомый сосед.

Шоу нашел, что им еще выпить, – остатки на донышке литровой бутылки «Абсолюта», такой давней, что ее плечи стали липкими от вязкого грязного воздуха Лондона, – и, сидя на краю кровати, развернул гостинец на новоселье.

– Ты только посмотри! – сказала она так, словно они поменялись ролями и это Шоу дарил ей подарок. Серебро, составное тельце тринадцати-пятнадцати сантиметров в длину, с боковыми плавниками на петельках. – Это из Перу, – объяснила Виктория. – Рыбка. Довольно старая, 1860 год.

Шоу взвесил рыбку на ладони, осторожно подвигал один плавник. Чешуя была мутная и холодная.

– Привет, рыбка, – сказал он.

– Вот видишь, – сказала Виктория. – Тебе нравится. Тебе уже нравится.

– И правда нравится.

– Тогда иди сюда и отблагодари меня как следует.

Позже, возвращаясь с одной из частых вылазок через лестничную площадку, она задержалась снаружи, уперлась руками в косяк и свесилась в комнату – освещенная ярко, как

гравюра, ребра и ключицы выдавались, словно затвердевающая рябь на сыром песке, – и с насмешливым отвращением разглядывала кровать, старое потертое кресло и разбросанную одежду, окно без занавесок.

– Чего? – сказал Шоу.

– Ой, и не знаю.

– Да не, скажи. Чего.

– По соседству ничего не происходит. Никакого спектакля. Я разочарована. Похоже, ты заманил меня сюда ради собственных целей, ты, одинокий мужчина. – Потом: – О господи, ну и ванная. Почему мы так живем?

– Кто это «мы»? Насколько я помню, у тебя в Далстоне хороший дом по ипотеке.

– Ну ты меня понял.

Шоу согласился.

– Вернись в постель, – предложил он.

Но она подошла к окну и окинула взглядом Уорф-Террас, где по улице носило легкий ночной дождик, а у верхних этажей зданий напротив висел слабый, но узнаваемый запах пивоварни «Ин Бев».

– Ты не чувствуешь какого-то неудовлетворения? Не хочешь чего-то большего? – Она подняла створку, подперла Фаулзом и подставила ладонь под дождь. – Я подумываю переехать, – сказала она. – Из Далстона, вообще из Лондона. Вряд ли перееду, конечно. Не знаю. – Вдали, на чизикской стороне реки, пропиликала «Скорая», как будто бесконечно удаляясь куда-то наискосок. Виктория прислушивалась, пока не настала тишина, потом вернулась в кровать и, не успел он защититься, потерла ему живот мокрой холодной рукой.

– Дергаешься, как девчонка, – заметила она. – Такая милота.

От секса она как будто делалась только беспокойней. То и дело вскакивала, звала во сне и ушла за своей машиной еще до первого света. Шоу поискал в комнате, будто еще мог ее найти. Она оставила записку под рыбкой из Перу. «Рада была опять поговорить! Напишу, когда разберусь в жизни! Твоя подруга Виктория!» Рыбка таращилась на него глазами из бирюзового стекла, вставленными над архаичным толстогубым ртом. «Мы были здесь до того, как вы пришли, – как будто молча предостерегала она. – Мы будем здесь после того, как вы уйдете». Пока он спал, Виктория, видимо, прочитала пару страниц «Воришки Мартина» и оставила на полу корешком вверх. «Кажется, ты еще не успокоился, – говорилось в постскриптуме, – но я уверена, что успокоишься. Уверена. В смысле, скорее, надеюсь. Надеюсь».

На самом деле он был вполне доволен жизнью. Жить без жизни – большое облегчение. Он читал. Навещал мать в доме престарелых. Искал новую работу в айти, а когда не нашел, блуждал по берегам Темзы, иногда вниз по течению до Патни, где ел мороженое в Бишопс-парке, но чаще – вверх по реке через Чизик, до слияния с Брент и дальше. В десять утра в пабах Темзы – старомодных, ветхих и лабиринтовых, вынужденных осваивать доступное пространство сложным образом из-за того, что втиснулись между дорогой и рекой, – царило странное гостеприимное спокойствие. В них никого не было. Их сероватый дощатый пол и старые столы освещались речными бликами. Шоу выпил полпинты в «Буллс Хед» в Стрэнд-он-зе-Грине; потом перекусил сэндвичами с помидорами в «Фоксе» у Хэнуэллского моста. Вечером, когда бары неумолимо заполнялись в часы окончания работы, он пробивался в сторону дома из закутка в закуток по тому или другому берегу, часто – через кладбища, распределенные между домами: Старое Мортлейкское кладбище, Новое Фулхэмское; крошечное затаившееся кладбище Святой Марии Магдалены, украшенное трудами Изабель Бертон трагикомическим мемориалом в виде палатки – в честь великого ориенталиста; Старое Барнсское кладбище в густой чаще, заброшенное в 1966 году, – превосходное туристическое направление недалеко от скандального гостевого дома «Элм» на Рокс-лейн. Однажды вечером на этом маршруте, почти у дома, Шоу набрел на мужчину, стоящего на коленях в кошачьей мяте, растущей у забора в забытом полуакре надгробий рядом с Саус-Уорпл-вэй.

Шоу остановился и пригляделся.

– У вас все в порядке? – окликнул он.

Тот отозвался, что в порядке. На первый взгляд незнакомец будто что-то искал в обычном кладбищенском мусоре; но этот слой – по большей части использованные презервативы и обертки – он скоро соскреб, обнажив под ним волокнистый черный мусс, а в нем – неглубокий отпечаток в форме следа, с неуловимым бликом воды на том месте, где угадывался мысок. Его он принялся углублять, с силой впиваясь в почву пальцами, ловко выворачивая и отбрасывая корни, пока не получилась ямка с грязной водой где-то пять сантиметров в глубину. В нее – быстро и воровато, словно подтверждая ощущение от остальных своих действий, – он окунул викторианский медицинский флакончик из ребристого стекла.

– Вам это будет интересно, – пообещал он. – Это почти как в детстве, ловить сеткой в пруду. – Он заткнул фиал большим

пальцем, быстро встряхнул и поднял на свет далекого уличного фонаря.

– Видите? Видите?

Шоу сказал, что ничего не видит.

– Ничего? О боже. Точно? Ну что ж. Тогда давайте выпьем.

Он посмотрел на пальцы, черные от прополки кладбища.

– Меня зовут Тим, – сказал он. – Руку пожимать не буду. Хотя в почве есть природный антидепрессант.

И, когда Шоу в ответ только уставился:

– Mycobacterium vaccae?

– А, – сказал Шоу.

– Усваивается через кожу.

Через пять минут они сидели в тепле и громкой музыке паба «Эрл оф Марч», окруженные практически одной молодежью. Тим был высоким, лет пятидесяти, со слегка искривленным позвоночником, словно целыми днями работал ссутулившись. Он носил дезерты «Кларкс», джинсы и белую рубашку – будь он молод, это выглядело бы вполне элегантно. Было видно, что раньше он был худым, но теперь стал шире в плечах и в животе прямо под ребрами. Хотелось сказать, что он нарастил жирок поверх своего неизбывного мальчишества; и что это показывало необратимые границы в его характере. Шоу казалось, если Тима на что-то направить, он вложится всей душой; а так будет выглядеть одержимым неудачником. Да он уже сидел с таким видом, будто подвел Шоу.

– Иногда их проще разглядеть, – извинился он.

– А кого ты искал-то?

– Знаешь блог, который все читают? «Дом воды»? Кое-кто говорит, там во всем правы.

Шоу, понятия не имевший, о чем речь, задумался, что бы ответить, потом признался:

– Я редко бываю в интернете. Слишком похоже на работу.

Они угостили друг друга парой стаканов, потом распрощались.

Позже тем вечером в доме 17 по Уорф-Террас стоял шум – кто-то без конца ходил туда-сюда по лестнице и в соседней комнате. Сменяя один безутешный сон о Виктории на другой, Шоу расслышал голос: «Вы можете, блин, заткнуться? Можете заткнуться, блин, для разнообразия?» – И не сразу в замешательстве понял, что голос – его собственный. Он колотил в стену, потом опять уснул. На следующее утро снова пересекся с Тимом – в этот раз тот бесцельно брел через Черч-Роуд в Барнсе с одеждой из химчистки. Левый глаз у него заплывал, чего еще

вчера Шоу не видел.

– Никто не знает, как правильно носить одежду из химчистки, – сказал Тим. – Одна из главных загадок человечества. – Свою он накинул на обе руки и прижимал к груди, будто это что-то намного весомей хлопковой куртки и чиносов; намного увесистей.

– Такой вопрос: тебе не нужна работа? – спросил он.

У него был собственный офис в плавучем доме, стоявшем в ста метрах ниже по течению от слияния Темзы с Брент. Изначально это был лихтер, ходивший по Темзе, – ржавый, широкий, тупорылый. Пришвартованный всевозможными способами – тяжело провисающими канатами, веревками и цепями, вялыми тросовыми леерами трапа, – словно Тим боялся, что лихтер уплывет от него – или без него. Но прилив как будто еле поднимал судно – оно погрузилось в ил с таким видом, что, можно подумать, уже никогда не сдвинется. Большую часть палубы занимал прямоугольный деревянный домик.

– Что скажешь? – спросил Тим, когда они пришли в первый раз.

Шоу оглядел лихтер с носа до кормы. Он ничего не понимал в кораблях.

– Впечатляет, – сказал он. Ему здесь понравилось с первого взгляда, хоть он и сам не знал почему.

Внутри салон был выкрашен беловатой краской, из мебели там были два стола, сдвинутые вместе под картой мира с океанами и сушей, окрашенными в такой цвет, словно они поменялись местами: континенты напоминали океаны, океаны напоминали континенты. Одно большое окно с металлическими жалюзи выходило на реку, другое – на бечевник.

– Работа не бей лежачего, – сказал Тим. Оказалось, надо всего лишь перекладывать бумажки и отвечать на звонки. – Я тут буду не всегда. Ты сам себе начальник. – Шоу ответил, что его это устраивает. Он справится без присмотра. И раньше справлялся. – Могут понадобиться командировки, – предупредил Тим. – Что-то вроде работы по продажам.

Шоу ответил, что его и это устраивает, хотя следует прояснить, что в этом роде занятий опыта у него нет. Они договорились об окладе, а также что работу не будут нигде регистрировать. Договорились, что начнет он со следующего понедельника. Последовала пауза, пока Шоу пытался найти туалет; тут была еще одна дверь, но закрытая на навесной замок.

– У меня есть ключ, – сказал Тим. – Она никуда не ведет.

Это напомнило Шоу сон, который иногда ему снился, о том, как он входит в комнатку, заваленную бескровно

ампутированными ногами – все они зловещего синевато-белого цвета и чуть больше человеческих. Как только за ним захлопывалась дверь, выход как будто исчезал. Но тут распахивалась другая дверь, или падала целая стена, и можно было войти в следующую комнату, и в следующую – в бесконечной последовательности. Страх гнал его все дальше. Стены падали и падали, двери открывались и открывались, будто стены и двери в рекламе мобильного интернета. В каждой новой комнате валялось столько ног, что Шоу становилось нехорошо. На них были носки цветов стран Евросоюза, часто они были чисто срезаны вдоль уже не существующей складки у паха. За этим штабелем ног скрывался не столько смысл, сколько *целая возможность смысла*, сосредоточенная в одном конкретном образе. Что-то подразумевалось. И не могло не раскрыться. Одновременно неизбывное и неизбежное. Шоу понимал, что расшифровывает язык снов, в котором структура и содержание – это одно и то же. И все же его тянуло проснуться; и в конце концов он, каждый раз радуясь спасению от собственной разлуки с каким-то отсутствующим телом, просыпался.

– Значит, в следующий раз встретимся в понедельник, – пообещал он Тиму, пока они неловко прощались на залитой солнцем постмодернистской набережной Сопхаус-крик; только чтобы через несколько часов его опровергли.

19.30 – начало обычного вечера пятницы в доме 17 по Уорф-Террас. Из офисов в центре «Хаммерсмит-Бродвей» нехотя возвращались по одному – по двое юристы. Кто-то только что принял душ. Пахло кокосовым шампунем. Этажом ниже смыли туалет. Заиграла музыка – что-то бодренькое, но в то же время задумчивое, с блуждающим басом. Через пыльное окно лестничной площадки проникал золотой свет, тускло-роскошный. Шоу по пути на улицу, одевшись для посещения матери в доме престарелых, удивился при виде человека у двери соседней комнаты. Тот склонился над замком и не попадал ключом в скважину. Это был Тим. Впав в ступор, в течение секунды Шоу видел два наложенных друг на друга образа: знакомого человека и незнакомого. Из-за замешательства он смог обратиться только к последнему, услышав собственный голос:

– О, привет! Двери тут паршивые, да?

Тим слабо улыбнулся с открытым ртом и снова принялся возиться с замком. Ключ щелкнул, дверь распахнулась – Тим вошел.

– Все это время здесь жил ты? – окликнул вслед Шоу.

Дверь закрылась. Через секунду-другую снова открылась,

всего на пару дюймов, только чтобы в просвете показалась голова Тима – чуть ниже, чем можно было бы ожидать, если бы он стоял прямо.

– По-моему, нам лучше об этом не говорить, – сказал он. В золотом свете его фингал под глазом напоминал инкрустированную сливу; второй глаз как будто смотрел в сторону. За его спиной виднелась смутная тень, неуловимые очертания комнаты.

– Я не мог поверить своим глазам, – говорил Шоу матери. – Все это время мы жили по соседству! Самое странное, что мне даже не нужна работа. Если серьезно.

– Всем нужна работа, – сказала мать.

На миг ему показалось, что она действительно слушает, но стоило такой диковинке – ответу – привлечь его внимание, и мать тут же, как обычно, уставилась в угол комнаты и назвала его чужим именем. Этих имен у нее был неисчерпаемый запас. Они говорили о глубокозалегающем слое ее жизни – теперь перекошенном, сумбурном, отрывочном.

– Я Алекс, мам, – решил проверить он ее. – Я Алекс.

Она презрительно уставилась на него.

– Не понимаю, почему ты не можешь ничего наладить, – сказала она, – или хотя бы научиться жить с тем, что есть, если наладить не получается. В этом же и есть жизнь.

Шоу пожал плечами.

– Справляюсь, как умею, – сказал он.

Насколько понимал Шоу, у него было несколько братьев и сестер от предыдущих браков и романов матери. С двадцати лет она каждые пять лет уходила от очередного мужчины и заводила новую семью в другом месте. Все дети ее ненавидели, потому что думали, что она их обделила; ненавидели друг друга, потому что им приходилось делить ее одну на всех. Большинство переехало в Канаду, Южную Африку, Австралию. Уже трудно было сказать, кто есть кто, потому что она рассказывала противоречащие друг другу версии еще до того, как пустила корни деменция.

– В любом человеке меньше всего, чем кажется на первый взгляд, – сказала она Шоу, когда он уходил. – Ты всегда был сволочью, Уильям.

– Вообще-то нет.

4
Анабасис

Любимой песней Шоу была «Janitor of Lunacy» от Нико. Любимым фильмом – который бесконечно пересматривался на тринадцатидюймовом «макбуке» с резиновой подставкой, пострадавшей во время какого-то перегрева, от чего у нее навсегда остались цвет, текстура и очертания бобового гриба, растущего на дереве, – неонуар 1975 года «Ночные ходы» Артура Пенна. Его Шоу предпочитал смотреть с кем-нибудь еще, чтобы радостно показывать конкретные моменты, когда детектив в исполнении Джина Хэкмена упирается – сам того не понимая – в пределы своего эмоционального интеллекта. А в одиночку он, как правило, включал фильм поздно ночью, делая так тихо, что с трудом слышал диалоги, и наблюдал с пристальностью криминалиста, как Хэкмен все больше нервничает и подсознательно смиряется со своим неизбежным роком.

После кризиса Шоу отставал во взаимодействиях с людьми. Ему казалось, будто события происходят слишком быстро и слишком законченно – либо будто вообще ничего не происходит. Раньше он был нормальным человеком. Теперь считал, что в основном он оторван от потока событий. Во время своей первой командировки ему надо было забрать из офиса какие-то старые картонные коробки, а потом сопровождать Тима на поезде до другого города.

Отбыли они так рано, что еще стояла темень. В пути поезд – из девяти вагонов с кондиционерами, мастерски настроенными так, чтобы зимой было слишком тепло, а летом – слишком холодно, – казался необычно бесшумным и церемонным. Пустым. Поставив коробки на багажную полку, Тим спросил Шоу о предпочтениях в выборе мест, тут же добавив, что обычно садится у окна.

– Да можно сесть где угодно, – заметил в ответ Шоу.

Через какое-то время Тим достал небрендовый планшет, зашел на сайт под названием «Дом Воды» и начал прокручивать самые новые записи. Скоро он уже кивал и хихикал, читая какой-то коммент, поворачивался к Шоу и заговорщицки улыбался, словно будет рад поделиться. Шоу украдкой косился на экран – «Образец генома денисовского человека», прочитал он, а потом: «Un couple préhistorique enlacé découvert en Grèce»[6], – затем наблюдал за пейзажем, проносящимся за окнами на другой стороне вагона со скоростью сто пятьдесят километров в час.

Прошелся до вагона-ресторана и купил сэндвич с сыром и помидорами, который съел на своем месте, глядя поверх ослепительно желтых полей рапса и медленно пережевывая мокрый хлеб. Поезд шел со всеми остановками. Каждый раз, когда он трогался, динамики шептали: «Добро пожаловать на поезд „Вирджин“».

Недалеко от пункта назначения Тим выключил планшет и сказал:

– Когда доедем до «Умного Мира», будем говорить с Хелен. Хелен – пустое место, но начнет делать вид, будто что-то из себя представляет. Не хочу, чтобы тебя удивляло то, что она скажет.

Шоу понятия не имел, как на это ответить. Молча посидел минуту-другую, потом сказал:

– «Умный Мир»! – и рассмеялся. Посмотрел в окно. – Никогда не могу привыкнуть к скорости поезда.

– На месте я скажу, что делать, – сказал Тим.

Шоу доел последний кусочек сэндвича. Это был уголок, без сыра или помидора. Он ненавидел, когда во рту остается вкус маргарина.

– Понял, – сказал он. Потом добавил: – Не надо говорить о женщинах, что они ничего из себя не представляют.

– Это тут ни при чем, – сказал Тим. – То, что Хелен – женщина, тут ни при чем.

– Добро пожаловать на поезд «Вирджин», – снова произнес голос. Поезд точно было не назвать девственно-чистым[7], скорее масляным. Кресла масляные. Убогие подносики на спинках кресел – масляные. Маслянистость перебиралась на руки и личные вещи, и потом они слегка липли друг к другу. Кончики пальцев отходили от всего с неслышным, но каким-то ощутимым «чпоком».

– Никогда не чувствуешь, как прилипают, – сказал Шоу Тиму, – но всегда чувствуешь, как отлипают.

Тим не ответил. По окну наискосок брызгал дождь.

Когда они приехали, лучше не стало. Их ждал какой-то унылый городишко, живущий мелкомасштабным производством, сорок пять тысяч душ где-то в Поттерис, в сотне миль от чего угодно. Тучи чуть ли не касались крыш. По запустелому скотному рынку и рядом с отелем «Мидленд» дул ветер, тянул рваный дым из трубы цементной фабрики. Тим не стал брать такси, так что они с тремя коробками на брата прошли милю до пешеходного центра под дождем, пока вокруг просыпался город. За центральным лабиринтом новостроек, вдоль стены «Маркс и Спенсер» размером с целый пригород, зябкие бессмысленные пандусы и лестницы спускались в позабытый край витрин конца

девяностых – таблички неразличимы, стекло – палимпсест древних плакатов и выцветших уведомлений о закрытии.

Теперь, когда «Умный Мир» стал очередной точкой продаж и не работал в полную силу, было невозможно сказать, чем он торговал во времена расцвета. Вдоль плинтуса по краям просторного ламинированного пола лежали сугробы снежных упаковочных бусин. С обшарпанных стен свисали перекошенная фурнитура и пучки пыльных проводов. Громоздкая белая стойка напротив входа – кривая и как будто временная – оказалась холодильной витриной, ее полки были заставлены всякими коллекционными товарами, в основном книгами и журналами в желтеющих пластиковых обложках. За витриной, сложив руки на груди, стояла без дела Хелен – женщина лет сорока с раздраженным видом, наполовину невидимая в тусклом бледном освещении, в ярко-синем деловом костюме, отбивающаяся от наступления какой-то знакомой скуки. Она выглядела так, будто устала, но в то же время готова к работе. Она выглядела как чья-нибудь мать, подумал Шоу; но не его. Казалось, она не рада Тиму, который без обиняков перешел к делу:

– Он на месте?

– Ты же знаешь, по средам его никогда не бывает.

Пока она отвечала, Тим оглянулся через плечо. С ней любой разговор может быть лишь временным, гласил этот взгляд. Лишь эрзацем чего-то более удовлетворительного. Настала пауза, после которой Хелен пожала плечами и продолжила:

– Он ничего не захочет. Надо было сперва позвонить.

– То, что я привез, он захочет.

– Теперь мне самой придется ему звонить, ты же знаешь. Он считает, нам нужно что-то менять.

Тим начал сдирать упаковочную пленку с одной коробки. Спешно, словно ему грозили сроки.

– Это он захочет, – сказал он. – Не изволь волноваться.

Хелен слабо и насмешливо пожала плечами, но звонить никому не торопилась; а после краткого взгляда на содержимое коробки даже разрешила оставить их на складе.

– Но не открывай, – предупредила она, – а то потом будешь говорить, что возврату не подлежит.

Склад – узкое помещение, куда вела дверь за холодильной витриной, – на середине перегораживали велосипед в пластиковой пленке и какие-то заляпанные краской стремянки. Духота здесь пахла чистящими средствами, развернуться можно было только с трудом, а все вещи выглядели так, будто им было бы удобней где угодно еще. Когда Шоу зашел туда один, ему тут же показалось, будто его все забыли. Его накрыл какой-то покой.

Он воспользовался возможностью и заглянул в одну из коробок. Там его встретили ряды ребристых викторианских флаконов с мутной водой, завернутых в пленку на картонных подносах, по дюжине на каждом. Шоу закрыл клапаны коробки, сложил вместе с остальными под сине-сиреневым плакатом, восхваляющим какой-то давно забытый фэнтези-роман, и осторожно попятился в магазин. Там он обнаружил, что Тим и Хелен склонились друг к другу над витриной и тихо и напряженно беседуют. Хелен сонно взглянула на Шоу, потом отвернулась, нетерпеливо качнув головой, – словно смотреть особо не на что. Моргнула.

– В общем, все, – сказал Шоу. Отряхнул ладони – этого хватило, чтобы освободить этих двоих от взаимного гипноза.

– Он все равно скажет тебе забрать их обратно, – отрывисто говорила Хелен Тиму. – Энни не хочет, чтобы он брал еще. – А Тим странно, дико улыбнулся и спросил:

– А при чем тут Энни?

Его пальцы оплела упаковочная лента. Обнаружив, что она прилипла к ладони, он варварски ее сорвал, схватил Шоу под локоть и вытолкнул из магазина.

– С какого хрена это должно волновать Энни? – бросил он через плечо. – Пошли, – сказал он. Сгорбившись, они пошли под дождем мимо скотного рынка к вокзалу.

– Ненавижу такие места, – сказал Шоу. – Кто такая Энни?

В течение всей этой встречи, как казалось потом Шоу, Хелен прощала ему знакомство с Тимом. Но непосредственно на Шоу отреагировала только раз – когда заметила, как он разглядывает в витрине жалкие стопки книжек, завернутых в пленку, – и то сказала только: «Вообще-то мы оптовики. Продаем партиями». Этот невероятный самообман и стал знакомством Шоу с бизнесом; по крайней мере, с этой стороной бизнеса.

С тех пор он два-три раза в неделю ездил в похожие предприятия – в книжные, в магазины хрусталя, в свечные лавки, в нишевые предприятия с краткосрочной арендой, торгующие мешаниной из поп-культурных сувениров и более существенных товаров из времен два-три поколения назад, – они процветали вдоль заброшенных главных улиц в эпоху экономической аскезы после 2007-го под управлением сети небогатых избирателей, надеявшихся подзаработать на падающей стоимости аренды. На самом деле такие хозяева были одержимы представлением о торговле как о некой политике, как о выражении фундаментальной теологии. Они верили в красивые речи, не имея ни таланта, ни капитала. Их убивал интернет. Их убивали темпы жизни. Они были как старомодные коммивояжеры, чахли в

барах и съемных комнатах, обменивались заказными книгами на ветреных углах улиц, словно на дворе до сих пор 1981-й, – граждане неприжившихся будущих, целых миров, которые не выдержали экономической турбулентности и не воплотились в жизнь, мужчины и женщины в дешевых деловых костюмах – вымытые волнами на перроны, близорукие от краткого прилива сил перед капитуляцией, показывающие друг другу устаревшие тайные знаки, будто какие-то тэтчеровские шпионы.

Шоу проводил в этом поблекшем психическом краю больше времени, чем ожидал. Утром садился на ранний поезд, вечером – на поздний. Наблюдал, как поля сменяют цвета от весны к началу лета. По вечерам в конце июня пешеходные кварталы Питерборо, Личфиллда и Бирмингема озарялись изнутри каким-то бесстыдным свечением, словно и правда могли удовлетворить многогранную тоску, с которой люди приходили в тату-салоны и спортивные дискаунтеры. Выразить собственную тоску в словах оказалось совсем непросто. Тем временем «Умный Мир» – хоть с виду и не скажешь, что в нем вообще что-то покупают, – стал одним из самых надежных направлений для продаж – если Шоу действительно занимался продажами. Он лучше познакомился с Хелен, женщиной за стойкой, – настолько, что к концу июля оказался с ней на полу склада, зажатый между велосипедом и кипой местной бесплатной газеты от октября прошлого года. Ее юбка была задрана до пояса. В тот раз – или вскоре после – она призналась, что предприятие принадлежит ей. Любое другое впечатление, что у него могло сложиться, сказала она, – это дезинформация.

– Некоторые торговые агенты не понимают, когда им отказывают. Особенно когда им отказывает женщина. Так что мне проще притворяться, будто я только работница.

– С Тимом не помогло, – заметил Шоу.

В ее выражение лица проникло слабое раздражение.

– *Его* не назовешь агентом, – сказала она. Пожала плечами. – Во всяком случае, с остальными помогает. Пожалуй, нам уже пора, – казалось странным обсуждать Тима в этих обстоятельствах, но, не считая пола склада, общим у них двоих был только он. Беда Тима, считала Хелен, в том, что он не видит, насколько его идеи ошибочные – или устаревшие.

– Так думает Энни.

– Никогда не понимал, что у него за дела с Энни, – рискнул спросить Шоу, делая вид, словно имеет хоть какое-то представление, кто такая Энни. – Что там за история?

Хелен рассмеялась.

– Я могу порассказать об Энни и Тиме *такого*, – ответила

она, – если тебе это надо, – и потом: – Кто знает? Но мы все понимаем, кто из них серый кардинал.

Вдобавок к MBA у Хелен был сертификат третьего уровня по оздоровительной физкультуре для особых групп населения. «Без лишней скромности скажу, что я довольна жизнью», – сказала она. Она водила «Ауди R6», жила в собственном доме у Кинвера, на окраине Бирмингема. Этот новострой на четыре спальни, расположенный в старинном районе под выступом песчаника, изъеденным пещерами, рядом с горой Холи-Остин, мог похвастаться участком в два акра, на котором находились склон с кустарниками (где примерно в 1920-х пробилась пара корявых шотландских сосен, напоминающих ладони с растопыренными пальцами) и длинный прямоугольный пруд в саду, причем и сад, и пруд были старше здания лет на сто или больше. В этом доме – хоть Хелен и заявляла, что живет одна, – по ее настоянию они занимались сексом только в неотапливаемой комнате для гостей, на диване-кровати «Джон Льюис», с которой первым делом поутру она сняла простыни.

Секс с Хелен озадачивал. У ее тела было ощущение пухлой белизны; Шоу себе говорил, что она белая на ощупь. Все это время она тихо говорила, часто – о личных финансах, часто – в подробностях. Похоже, больше всего в жизни она жалела, что не продала половину сада застройщику в 2006-м, сразу перед кризисом. Однажды ночью Шоу проснулся и услышал, как она горячо шепчет: «Не понимаю, почему люди не отвратительны сами себе еще больше». В постели он ее не нашел, но слышал с необычной четкостью, словно ее губы – в сантиметре от его уха. Она стояла сбоку от окна, лицом в комнату, прижав ладони к стене, неловко вывернув шею, чтобы глядеть в сад, где косой ливень шумел в кустарнике и забрызгал изъеденный каменный бортик пруда. «Выжимаешь из людей все соки ипотекой, пенсией и страховкой, но раз у тебя хорошая прическа и ты всегда поступаешь, как лучше для тебя, ты не можешь ошибаться, о нет. *Ты*-то ошибаться никак не можешь».

– Ты по телефону разговариваешь? – спросил Шоу. Но нет.

– Было три ночи, – рассказывал он ей на следующий день, – и ты даже не проснулась. Ты говорила во сне.

– Не люблю, когда за мной наблюдают, пока я сплю.

– Да я просто проснулся, – сказал Шоу с извиняющимся тоном, хотя извиняться было не за что. – Меня разбудил дождь. На улице вовсю лило.

Как и все остальные в стране, они изо всех сил старались сотрудничать, но ничего не получалось. Их роман, если его можно так назвать, вскоре после этого закончился со всеми

обычными обвинениями; и когда Шоу приехал в следующий раз, «Умный Мир» был закрыт. Он несколько раз постучался в грязную стеклянную дверь, потом пешком вернулся к вокзалу. «Даже холодильной витрины не осталось», – отчитывался он перед Тимом, который сперва вроде удивился, а потом пожал плечами.

5
«Передавать воду»

Между такими командировками Шоу работал в офисе. У него был ключ от баржи, так что он мог приходить в любое время, часто пересекал Темзу по Барнсскому мосту уже в шесть утра и прогуливался до Чизика, где покупал и съедал круассан с миндалем. Работа была не самая тяжелая. Он вел список клиентов, а на большинство запросов отвечал: «Я тогда передам это Тиму, ладно?»; время от времени продавал печатавшуюся на заказ книгу – «Путешествия наших генов». На обед ел сэндвич из местного «Прета» – обычно с курицей и авокадо; или доходил до «Эрл оф Марч» за сосиской и картофельным пюре с луковой подливой. Если погода не портилась, вытаскивал офисное кресло из кабинета и сидел на берегу, оглядывая реку в стеклянном дневном свете: в одну сторону – остров Оливер, в другую – безлюдные жилые набережные у слияния с Брент.

В офисе он обжился быстро. Тот был обставлен старьем. Пол скрипел и с каждой волной уходил из-под ног. У стены, если пройти мимо, громко зевала стальная картотека. Выдвинешь ее ящики – поднимая густой, но довольно приятный запах древних карандашных очисток, – а они забиты устаревшими канцелярскими принадлежностями: линейками, заляпанными чернилами, баночками с канцелярскими кнопками и просроченными резинками, фирменными бланками с другого предприятия – оно звалось «Функциональные Решения Лтд», пока на исходе восьмидесятых не ушло, даже не пискнув, под бурную соленую поверхность тэтчеровской экономики.

Кое-что Шоу выложил на стол – высохшую штемпельную подушечку в красочной жестяной коробочке; стопку желтых стикеров, уже загибающихся, – на одном он нашел накарябанные слова «Дендрограмма», «загустевший желеобразный слой» и что-то вроде «глубокий материковый склон»; и лампу из «Икеи», в которой, хотя она не напоминала ни манекен, ни деревянный макет виселицы, мерещились элементы от них обоих. Чтобы персонализировать этот коллаж, Шоу добавил свой «Лондон Ревью оф Букс», через который продирался уже месяц. Если хотелось кофе, под рукой имелся электрический чайник с протертым тканевым шнуром.

Шоу чувствовал, что эти вещи отвечают всем его потребностям, даже слегка его переосмысляют; хоть и казались застенчивым продуктом ушедшей эпохи – как и черно-белые

зернистые порножурналы на удивительно глянцевой бумаге, найденные в одном незапертом ящике картотеки. Единственной проблемой оставалось отсутствие туалета. На вторую дверь он уже махнул рукой, разве что время от времени гремел навесным замком: очевидно, что бы ни было за дверью, это все равно никак не уборная. Но не мог же он каждый раз бегать в «Эрл оф Марч», так что пришлось ходить в густые заросли, обосновавшиеся на заброшенной барже в паре ярдов выше по течению.

Ему это было не в тягость – что там, даже в охотку. Окружение казалось каким-то пышным: пыльные запахи, блики воды за листвой, неотличимые от блеска битого стекла в неглубоких корнях буддлеи и кипрея, тихие движения потревоженной птицы, легкое удовольствие от того, что он одновременно и на воде, и на твердой земле. В непогоду он оставался в офисе, слушал дождь на реке. Смотрел «Нетфликс» или изучал с прищуром любопытную карту мира, приклеенную офисным пластилином над столом, с линиями побережий, пронзенными отсутствующими булавками в кучках ржавых пятен. Или пролистывал электронную почту, где часто находил что-нибудь от Виктории Найман.

Виктория исполнила свою угрозу уехать из Лондона. «Что ж, вот и все, – писала она. – Прощай, Далстон. Взяла с собой только то, что влезло в маленькую машинку. Все остальное отправилось на склад. Как можешь догадаться, на этом я и распрощалась с бесценными старинными коврами и семейным серебром». Или вот с телефона: «На помощь! Снова затерялась в Мидленде!» К этому предприятию она относилась так же расплывчато, как и ко всему в жизни. Но зато уже заводит друзей, говорила она: наконец-таки получает удовольствие. Отчищает два старых кресла уайт-спиритом и «льняным маслом цвета „Лагавулина“». Этакий репортаж с места событий. Шоу ждал каждой новой главы, но всегда с ощущением, будто пропустил какое-то главное сообщение. Куда она все-таки поехала? Чем сейчас занимается?

«Так или иначе, – писала она, – как и прочие неудачники, я поставила на провинцию. Твоя, со всяческой любовью. Надеюсь, ты наслаждаешься своей рыбкой и, что не менее важно, рыбка наслаждается тобой».

На самом деле он решил отдать рыбку матери.

Почему, он и сам понимал с трудом. Если взять рыбку и дать уличному свету срикошетить с ее вырезанных вручную чешуек, она казалась скорее деко, чем перуанской, скорее тридцатых, чем девятнадцатого века; еще больше сбивало с толку то, что проба – на испанском. Крохотная вытисненная пентаграмма, как осведомил «Гугл», обозначала серебро 915-й пробы. Эти

несовпадения между фактами и историей Виктории о рыбке как будто только подчеркивали более глубокий культурный разрыв. Эстетика рыбки передавала какое-то ощущение любопытства, нерешительности – словно автор, китчизируя этнический продукт одной культуры, наткнулся в нем на следы совершенно другой. Под светом фонаря движение хитроумно выполненного тела казалось почти волнообразным.

Уж слишком похоже на рыбу. Мягкие на вид губы и обвиняющие голубые глаза приводили Шоу в смятение, особенно когда он просыпался по ночам, дезориентированный из-за шума в соседней комнате. Там по-прежнему постоянно ссорились с утра пораньше. Внизу в теле дома грохала дверь. Кто-то спотыкался на нижней площадке, потом оправлялся и поднимался дальше. Слышалась музыка или что-то наподобие, иногда – перед самым рассветом – в сопровождении менее опознаваемого вокала. Знание о том, кто живет по соседству, ничего не меняло, разве что Шоу больше не чувствовал себя вправе жаловаться, раз Тим – его работодатель. Когда они сталкивались друг с другом – в подъезде или у хлебных полок в «Сейнсберис Локал», в мортлейкском конце Уорф-Террас, – Тим выглядел, как всегда, рассеянным. Это был человек в поисках мотивов – он никогда их не находил, но все равно действовал, затерявшись среди структур, которые мы все унаследовали и с которыми пытаемся работать. Однажды утром Шоу открыл дверь в ванную и обнаружил там Тима, стоящего на коленях на рябом линолеуме перед унитазом. Его летний пиджак валялся скомканным в углу. Левый рукав рубашки был закатан дальше локтя. Он отвернул голову в сторону, словно не хотел смотреть в унитаз, куда так решительно засунул руку.

– А, – сказал Тим.

– Всегда запирай дверь, – посоветовал Шоу, словно напоминая ребенку об очередной общественной обязанности, которая впредь усложнит его жизнь. Сейчас Шоу собирался на поезд в сторону Туикенема, до дома престарелых, но уже чувствовал, что день не задался. – С лестницы может войти кто угодно.

Потом сказал, что не будет мешать Тиму, и добавил только:

– Пол довольно мокрый.

– Тебе, наверное, интересно, что я тут делаю, – окликнул вслед Тим.

В свое время матерью Шоу восхищались. В результате теперь можно было видеть, как она смотрит – со взглядом смутным и бурным, как пустой морской пейзаж, – из фотографий во

множестве фотоальбомов. Казалось, теперь ее увлекают эти реликты – напрасные браки, постыдные роды, похороны, на которых как будто никто не знал усопшего, – но без присмотра она впадала в необъяснимую ярость и пыталась порвать снимки. Даже о самых недавних – сделанных месяцем ранее на телефон Шоу – она иногда говорила: «Не говори глупостей. Не говори таких глупостей. На меня это похоже не больше, чем муха в небе». Может, она была права: со снимков смотрела пожилая женщина, вида стандартного, обветшавшего, но все еще каким-то образом вздорного, сидящая на кресле в общей комнате дома престарелых, под отчетливо видной репродукцией завораживающе странной картины маслом – «Морской идиллией» Арнольда Бёклина 1887 года.

Здесь-то Шоу ее в этот раз и нашел.

– Не надо думать, будто мне нужна эта ерунда, – сказала она, как только увидела сверток с рыбкой.

– Не смеши, – ответил Шоу, – ты даже не знаешь, что там.

– То, чего мне даром не надо.

– Ты не знаешь, что там. Слушай, это подарок, гостинец. Хотя бы разверни.

Но вместо этого она просидела полчаса, воротя нос от подарка, на одном из кресел с подлокотниками и удивительно прямой спинкой, что стояли под Бёклином. Время от времени бросала украдкой взгляд на сверток, но тут же отворачивалась.

– Не знаю, что тебе от меня нужно, Питер, – сказала она наконец, словно они проспорили все утро. Вздохнула. – Честно не знаю, что тебе от меня нужно.

Этот сопутствующий ранимый жест плечами – не совсем пожимание, слишком сложно, чтобы взять и расшифровать, вечный способ скрыть слабость своей позиции, – он отчетливо помнил уже с десятилетнего возраста.

– Меня зовут не Питер, – сказал он.

– Дорогой, разве сегодня мы не посмотрим фотографии? Я их просто *обожаю*.

К этому Шоу уже подготовился.

– Когда развернешь подарок, – пообещал он, – тогда и посмотрим. Посмотрим фотографии под чашечку чая.

Она внезапно придвинулась и взяла его руки в свои.

– Но ты такой холодный! – сказала она. – Здесь холодно? – Потом таким тоном, словно придумала, чем еще его порадовать: – А давай сперва посмотрим фотографии!

Понимая, что лучше предложения он не дождется, Шоу сходил за альбомами. На пляже в Гастингсе, пятнадцать лет назад, с темными волосами, уложенными в виде колокола, в

платье-халате, с острыми скулами времен 1960-х она напоминала Майру Хиндли[8], не столько голодную, сколько ненаевшуюся. Было видно, что ее ничего не радовало уже тогда, за полдесятка лет до того, как она выдумала свою главную методику проживания жизни. В дальнейшем позируя рядом с одним супругом за другим, временный центр одной семьи за другой, она превратила свою жизнь в историю фотографии: крошечные снимки на «Кодак 127», покоробленные собственным глянцем до мелкой ряби, отражавшей свет от изображения, сменялись на 35-миллиметровую прозрачность, где цветовая тональность опасно скатывалась в красный; затем – полароиды из конца семидесятых с мутными и неуловимыми оттенками заднего фона.

Пока персонал дома престарелых не запер фотографии от нее подальше, мать начинала каждый день с их изучения и тем же заканчивала. Уже и представить невозможно, что она теперь о них думала, для какой внутренней механики они все еще служили. «Тебе какая больше нравится?» – спросила она. Шоу выбрал ту, где она позировала на пляже в Пемброке с одним из его множества отцов – по фамилии не то Карсон, не то Карлсон. Сзади них на береговой щебенке неуклюже испражнялась левретка, изогнувшись всем телом в дрожащий обруч; на горизонте лежало море, погода казалась холодной.

– Смотри, – сказал он. – Тетя Нэнси и ее собачка.

Мать уставилась на него с презрением.

– Когда ты наконец вырастешь?

– А как звали *собаку?* – сказал Шоу. – Я помню только, что тебя эти всегда звали тетей Нэнси. – Он вышел в коридор и быстро ходил туда-сюда, нахохлившись и сунув руки в карманы. Когда вернулся, она уже порвала снимок – сидела у окна, аккуратно размешивая на столике блестящие кусочки, словно теплую жидкость. Стоило их у нее забрать – как можно мягче, – как мать улыбнулась в сад и сказала:

– Тетя Обормотя. Не жизнь, а головоломка!

– Теперь-то ты посмотришь, что я принес? – спросил он.

– Да! – по-детски отозвалась она. – Посмотрю. Хочу!

Но стоило развернуть перуанскую рыбку, как она разрыдалась и твердила, что так и знала; а в следующее его посещение персонал попросил забрать рыбку. «Похоже, она ее расстраивает».

Провонявшие жиром старые отели. Бирмингемские или лейстерские гостиницы-помойки без единой звезды. Коридоры с черными половицами, которые скрипят и прогибаются под ногами. Ночной портье, который не пустит тебя ночью, пока не

заплатишь снова. Потом на следующее утро – домой, где Тим вечно ярится из-за возмещений, из-за того, что его обманула при возмещении или возврате какая-нибудь компания под названием «Золотые чужеземцы» или «Они пришли волнами». У него были странные бартерные отношения с целой кучей таких компаний. Шоу поручалось принести в магазин, а иногда кому-нибудь на дом – в безлюдном по ощущениям пригороде в трех-четырех километрах от городского центра – какую-нибудь дешевую репродукцию в рамочке или небольшой сломанный предмет мебели. Взамен он получал продуктовую сумку с кассетами спокен-ворда конца семидесятых с вручную надписанными этикетками. Где тут прибыль, Шоу понимал редко. Даже когда в деле появлялись деньги, он чувствовал, что транзакция закрывается в какой-то другой валюте.

Все остальное время он возил те же самые картонные коробки. «Я их тебе доверяю», – приговаривал Тим. Когда одна развалилась, как размокший сырный сэндвич, и внутри обнаружилось всего лишь полдесятка экземпляров «Путешествий наших генов», Шоу предположил:

– Дороговатая доставка у нас получается.

Тим только улыбнулся.

– Люди хотят знать, кто мы, – сказал он.

– Мне все только повторяют, что им это не нужно.

– Им хочется видеть знакомое лицо.

В конечном счете, возможно, все это было изощренным способом испытать Шоу, потому что внезапно поездки прекратились – правда, только после, пожалуй, самой странной командировки.

– Я хочу, чтобы ты посетил суд, – сказал Тим.

– А туда можно прийти просто так?

Тим пожал плечами.

– Судебные заседания – публичные мероприятия. Туда пускают любого.

– И все-таки, – сказал Шоу. – Прям «посетить».

– Подзащитного зовут Патрик Рид. Постарайся запомнить все, что он скажет. Запиши, если понадобится.

Шумные содрогающиеся маленькие электрички, сомнительные пересадки: Шоу полдня сменял транспортных операторов страны, одного за другим; многовато стараний, только чтобы днем добраться до бурой окраины Уэльса. Городок с непостижимой средневековой топографией и тактической позицией над рекой Северн когда-то неплохо зарабатывал на овцах; потом – на их разведении; наконец – на угле. Ныне городок, как и большинство таких старинных мест,

постколониальных, постиндустриальных и – в том смысле, что теперь его прошлое стало его настоящим – совершенно постисторических, курировал коллекцию изначальных городских ленов, деревянных построек с культурным значением и старомодно убогих названий улиц. И был вполне собой доволен вот уже семьсот лет.

Шоу нашел суд Короны[9] на краю городского центра, неловко пристроенный на кольцевой между большими островками безопасности, в окружении из местных колледжей, полицейского участка и еще двух судов. Это было государственное здание из тех, что, хоть и построены специально для своей цели, все равно кажутся для нее неподходящими. Архитектурный стиль не описать без сравнения с отелем сети «Трэвелодж». Лифты не работали. В коридорах висели рукописные записки, которые спешно сканировались и печатались на каждой стойке, чтобы угнаться за изменениями в правилах нового дня.

Никто как будто не знал, как здесь оказался подзащитный. Инженер-строитель на пенсии, высокий, лет семидесяти, опрятный, с тихим голосом, седыми волосами, выдающимися скулами хрупкого вида и осанкой со смещенным центром тяжести, взирал на судью с озадаченным облегчением, – словно ему больше не за что было ухватиться, кроме как за их отношения, словно они спасали его от существования с непостижимыми правилами. «Я благодарен вашей чести», – без конца повторял он. И каждый раз вытирал после этого губы.

Судья выглядел таким же нерешительным. «Конечно, я сам виноват, – произнес он в какой-то момент, – но вы не могли бы говорить громче? И не могли бы обращаться к присяжным?» Из-за таких просьб он сам казался не менее потерянным, хоть и по-другому.

В чем же, собственно, состояло преступление Патрика Рида? Обвинительное заключение говорило о «серьезном нарушении общественного порядка», но, похоже, на самом деле он всего лишь привлекал к себе внимание криками, стоя в оживленном конце пешеходной улицы в городском центре, в дождливую субботу под завершение прошлого года: Шоу казалось, он вполне может понять такое желание. Улик еще не представили. Зато отсрочкам не было конца. Звучали заявления, которые никто не понимал. По рукам ходили бумаги. Никаких свидетелей не вызывали. «Я уверен, мой друг с этим согласен», – поздравлял один адвокат другого, но присяжным не говорили, с чем именно. Наверняка можно было сказать только одно: обвиняемый верил, что, посмотрев в унитаз в «Блэк Хорс» на Кэмп-лейн, он увидел «в

воде что-то живое».

Дальше этого в первый день не продвинулись. На второй – по так и не объясненным причинам – судья закончил заседание раньше. Шоу съел крафтовый сэндвич в «Жюисанс Бистро&Центре благополучия». Потом заблудился в системе проулков между Гроуп-лейн (ранее Гроуп-Каунт-лейн) и Догпоул-ярдом, где нависающие верхние этажи – судя по всему, державшиеся только на прямоугольных сточных трубах, словно перехваченные толстыми кожаными жгутами, – приютили как «Центр Занятости Плюс», так и дорогой бутик нижнего белья; внезапно Шоу вывалился на вытянутую территорию Старой церкви Святого Мартина, где сел на скамейку под теплым солнышком почитать брошюры о городе. На протяжении тысячи лет, узнал он, на этом месте находилось то одно, то другое культовое сооружение – до 1788 года, когда церковь таинственным образом провалилась в собственную крипту и от нее остался лишь странный красный песчаник подтаявшего вида в основании многогранного Капитула, на который Шоу сейчас уставился. Он вернулся к себе в отель и отчитался Тиму: «Ничего особенного не происходит».

На следующее утро Патрик Рид в ответ на просьбу уточнить свои показания описал, что видел в туалете «бледную зеленоватую чешуйку не больше нескольких миллиметров длиной», и она энергично перемещалась случайным образом, пока он на нее случайно не помочился, после чего она выросла в «зеленого ребенка», который обладал чертами как зародыша, так и сформировавшегося организма и которого Рид в полнейшем отвращении смыл. На тот момент ребенок все еще рос.

– Мне показалось, – с извинением сказал Рид судье, – что я увидел то, чего не должен видеть никто.

Может ли он объяснить, что имеет в виду?

Не может. Может только пожать плечами.

– Оно все еще росло, – только прибавил он. – И быстро.

В ответ судья обвел рукой подсудимого, адвоката и приставов, словно надеялся, что кто-нибудь – кто угодно – заговорит.

– Думаю, присяжным хотелось бы услышать больше? – предположил он наконец.

– Боюсь, это вся суть, – признался Рид.

После этого он начал видеть что-то каждый раз, когда мочился. Этот процесс он называл «передавать воду». Двусмысленное словосочетание, подумал Шоу. Но в этом и правда была вся суть. Где бы Патрик Рид ни «передавал воду», там росли зеленые детишки. Не считая их расцветки и прозрачности – что-то среднее между тлей и карамелью – они

напоминали людей. «Я имею в виду, – поспешно добавил Рид, – казалось, что у них есть потенциал стать кем-то вроде нас». Они, к примеру, не напоминали нэцке. Не были мастерскими куклами. Он видел сердцебиение. Он видел болезненное нежное выражение лица, присущее всем эмбрионам млекопитающих. Крохотные движения. Может, не люди, но все-таки что-то живое. И хотя он всегда старался их смывать, однажды Рид допустил, что остальные это делают не всегда. «Они так быстро росли! – оправдывался он. – Откуда мне было знать – и откуда знать сейчас, – может, они уже повсюду». С того момента он начал предостерегать людей. Если в ту субботу он и перестарался, сказал Рид, то он раскаивается: «Но тогда это казалось очень важным».

Суд тянулся еще два-три дня. Шоу ничего не понимал. Каждое утро присяжные выслушивали формальное предупреждение не обсуждать процесс ни с кем – даже друг с другом. Но серьезно, что тут обсуждать? Человека, который, говоря о канализационной системе, пользуется оборотом «глубокие и ложные воды» и верит, что в них скрывается совершенно новая форма жизни? Присяжные переглядывались и пожимали плечами. Единственное, в чем они не сомневались, – что Патрику Риду действительно нужна помощь, но не их. Если у него в жизни и есть проблемы, то не судебного характера. В конце концов его признали невиновным по главному обвинению, но виновным по второстепенному – нахождение в нетрезвом виде в зоне действия алкогольных ограничений, а именно – на мостовой перед Крытым рынком.

Все с облегчением выдохнули. Как сказал сам судья в заключительной речи, трудно обвинять человека, который верит, что в общественных туалетах Объединенного Королевства беспрепятственно плодятся «зеленые человечки».

Когда Рид его поблагодарил, судья только покачал головой.

– Сомневаюсь, что кто-то из нас, – произнес он, обводя рукой присяжных, – скажет, что сегодня мы вынесли правильное решение. Но очевидно, что единственная альтернатива тоже была бы неправильной.

На этом суд вроде бы и закончился.

Шоу вышел из здания, сменил три поезда по дороге домой и передал вести Тиму, и тот задумчиво покивал. По нему казалось, вердикт удовлетворительный – одновременно и подтверждение, и завершение. Отдельные подробности из повествования инженера будоражили его еще долго: «Тля! – сказал он однажды вечером в дальнем зале „Эрл оф Марч“. – Единственные создания в мире со способностью к фотосинтезу!» А когда Шоу только молча

уставился в ответ: «Поразительно, верно? Слой клеток под кожей толщиной в несколько нанометров, способный точно так же, как растение, перерабатывать солнечный свет в энергию!» – но было очевидно, что и к этому Тим стремительно теряет интерес. В то же время как будто шла на убыль его нервозность. Сразу потеряли важность командировки в провинции, иссякли. Через неделю-другую он заявил Шоу:

– У меня для тебя новое задание. Я хочу, чтобы ты посещал медиума.

Посещения, сказал он, будут проходить раз в неделю. Медиум называла себя госпожа Суонн и жила в ряде коттеджей рабочего класса у Старого Мортлейкского кладбища, со стороны Шина.

– Платить будешь наличными, – сказал Тим, – и снимай сеанс.

– Что я буду искать?

– Что угодно интересное. С Энни у тебя трудностей не возникнет. Она душка. Возьми видеокамеру, только не говори ей, что ты от меня.

– Могу снимать на телефон, – предложил Шоу.

Тим ненадолго задумался.

– Идет, – сказал он.

Два

6
Дом Виктории

Судьба сыграла странную шутку с материнской линией семьи Виктории Норман. Сплошь провинциальные агенты по недвижимости, солиситоры и врачи – в молодости жизнь в них била ключом, но в среднем возрасте они страдали от парализующих страхов и депрессии, сохраняя в последние годы не больше сил, чем нужно, чтобы умереть от первой же подвернувшейся возрастной болезни.

Утешались они тем, что это хотя бы предсказуемо; это семейное. Ее дед по этой линии десять лет провел в объятьях мягкого кресла, благоухая сигаретами и «Фэймос Граузом», а потом пал жертвой тромбоза; за ним ухаживали его сестры, потом, освободившись от этого бремени, они однажды субботним днем умерли в обувном магазине из-за одинаковых кровоизлияний в мозг. Мать, оробев из-за подобных сцен еще в подростковом возрасте, не садилась в автобус, если он заезжал на тротуар или – еще хуже – если она по ошибке давала водителю не ту сумму; в сорок лет она с трудом заставляла себя выйти из дома. Когда морок развеялся, было уже поздно: отец Виктории, под конец жизни полюбивший рыбалку, упал замертво на уединенной автостоянке на берегу реки Северн, оставив мать в трауре, но в то же время и в необъяснимом облегчении. В этом облегчении она пережила и менопаузу. С ним же переехала в маленький и не самый живописный городок в Шропшире, где купила «Айфон» и водила домой незнакомых мужчин, по ночам спьяну написывая сообщения одному любовнику за другим, пока не умерла от необычно расширенной селезенки и очень высокого уровня гормона щитовидки Т4.

Вот почему Виктория, через месяц-два после свидания с Шоу в Хаммерсмите, впервые за пятнадцать лет оказалась за пределами юго-восточного Лондона, направляясь на «Фиате 500» неведомо куда – одновременно с ожиданиями и без. Она ехала в гору, мимо кузнеца, зеленщика и старой ратуши с высокими зацементированными окнами, на самую верхушку, где выстроилась парочка сухопарых старых домов, чтобы до них мог добраться ветер и целыми днями сдувать соек с их многоступенчатой единой крыши. Она устала. Она искала перемен и втайне их боялась. Она два раза заблудилась по дороге с М42.

Наконец она смогла заставить себя поднять глаза на высокий

узкий фасад своего нового дома и вдруг содрогнулась с полной уверенностью, что совершает ошибку.

Дом отторгал ее. Ключ не поворачивался в скважине, свет не включался, а коридор загромождали горы мрачных картонных коробок. Весь первый этаж пропах давними чайными пакетиками и сыром. Зато кольцевая проводка на кухне работала; так что Виктория смогла включить холодильник, поставить электрический чайник, заварить чай и выпить его в химическом блеске экрана смартфона, сидя на нижней ступеньке лестницы, подобрав под себя ноги.

Нервно поглядывая на сумрак площадки второго этажа, она решила пока что остаться внизу и переночевать на призрачно-белом диване в передней, где хотя бы слышно машины с улицы. Она поймала себя на мысли, что кто-то всегда должен знать, где ты находишься, – даже если тебе трудно их понять, уловить, чего они хотят, или самой им объяснить, чего хочешь. Так что последним делом перед сном она снова написала Шоу:

«Что нам делать со своей жизнью – таким, как ты и я? Мы как кучка крабов-отшельников в одном общем панцире».

Он не отвечал ни на одно ее письмо, так что она добавила: «В общем, я покинула очаровательный Лондон, вот мой адрес, если надо». Потом: «Не знаю, куда устроюсь работать. На какое-то время денег хватает». Вдобавок у нее остался дом в Далстоне – она нашла жильца, чтобы не отставать от ипотеки; но признаться в этом Шоу значило предстать робкой, неспособной пойти до конца. Она раздвинула подушки на диване, открыла ставни и заснула в луже лунного света любопытного гиацинтового оттенка – как будто припасенного на будущее краской зданий через дорогу, – чтобы на следующее утро проснуться в совершенно другом настроении.

Дом 92 по Хай-стрит – этот итог белой горячки в экономике конца восемнадцатого столетия, построенный на прибыль с небольшого известнякового карьера над ущельем Северн, – незадолго до Первой мировой войны был поделен надвое. Днем половина Виктории оказалась всем тем, о чем она всегда мечтала: три этажа высоких пустых комнат с половицами темными, как палуба старого корабля. Да, дом утратил былой блеск. Фальшпотолки, сырой подвал, под многими акрами древесной щепы гнила штукатурка; кухню принесли в жертву обшивке из хвойных пород в стиле 1970-х. Но да, все это решительно отправится на помойку, пока не вернутся широкая лестница, высокие окна, изначальные пропорции. С этой картиной в мыслях Виктория с легкой душой прошлась по лестнице вверх-вниз, обошла комнаты, завтракая хлопьями с холодным молоком, и не

могла поверить своей удаче, когда смотрела в сад или на свет, льющийся в лестничном колодце.

Ее поджидало несколько сюрпризов. Первый – высокая женщина с жидким седеющим бобом, которая выскочила перед ней на площадке второго этажа. Этот призрак – заламывающий руки с испуганным и извиняющимся выражением лица – оказался самой Викторией, отразившейся в ростовом зеркале и уже начавшей лепетать: «Простите, я не…»; совершенно нехарактерное для нее поведение, хотя теперь она уже начала задумываться на этот счет. Другие сюрпризы были не столь нелестными, зато бесили больше. Задняя дверь не открывалась. И можно было сколько угодно щелкать переключателями в щитке, но стоило вставить в розетку два кухонных прибора одновременно, как свет на первом этаже тут же снова гас.

Она составляла списки, а потом отправилась в люди.

В городке, около 1200 лет теснившемся на выступе из красного песчаника над рекой Северн, высокоэтажных зданий не было в принципе – только церковные колокольни да остатки обязательного замка пограничного лорда, торчащие над георгианскими крышами. На север и на запад вдоль двух-трех лесистых полос недавно вытянулись районы жилья и легкой промышленности, круто спускаясь к речным переправам. Тут Северн была всем. Это с нее началась торговля; это на ее берегах зародилось железо и промышленность. Зимой и летом, днем и особенно ночью река неизменно остужала воздух, словно огромный калорифер.

Середина утра – а улицы Верхнего Города уже оживились. Дождь принялся затемнять пегую кирпичную кладку; небо грозилось громом, но, сколько ни тужилось, так и не исполнило обещание. Виктория шла по растерянной спирали, пока не уперлась в средневековый замок. Эти любопытные руины крепости – воздвигнутой в 1200-х одним из менее известных савояров[10] Генриха III, Джоффри де Лейси, и разрушенной всего через сотню лет во время войны Диспенсеров, – представляли собой один треугольный угол из камня метров пятнадцати-двадцати в высоту, отклоняющийся от вертикали где-то на пятнадцать градусов, больше напоминая не архитектурное сооружение, а нос недостроенного корабля: будто основатель предвидел в будущем невероятный подъем уровня моря, мир, в котором холм будет островом, а замок – верфью. Камень почернел от дождя. Эдвардианские сады поблизости выглядели мрачно и упорядоченно.

Решительно настроенная получать сегодня удовольствие, она вышла на Портуэй – старую лестницу для вьючных лошадей,

сбегавшую к реке по крутому склону утеса от узкой щели между «Костой» и «Моей маленькой свадьбой». Здесь, между высокими кирпичными стенами и слоями выветренного песчаника, было тихо, прохладно и сыро. С каждым поворотом лестницы пройденный путь терялся из виду. Были только следующие десять метров, торчащий прямо из стен папоротник и растущая тишина, а дорожное движение оставалось позади. На полпути ущелье резко вильнуло влево и одновременно расширилось, чтобы стать чем-то вроде пологого ступенчатого пандуса. Здесь гору отравили оксиды, густо разрастаясь паутиной; подняв глаза, Виктория увидела задние фасады домов и магазинов на главной улице – выходившие прямо в воздух старые забытые двери; пыльные и битые окна; а выше – небо, промытая потрясающая синева.

Внезапно вниз по ступенькам хлынула теплая мыльная вода, побежала вокруг ее ног и дальше, всего сантиметров семь в глубину, но напористая и бурная, с барашками тут и там, словно кто-то без предупреждения опорожнил ванну. От воды чем-то пахло, но запах она не узнала – слабый и химический, возможно, от какой-то чистящей жидкости. Вода что-то несла: оно то сдвигалось, то приставало к брусчатке, то снова сдвигалось, прозрачное и слегка зеленоватое; в остальном похожее на мертворожденного котенка.

Виктория зажала рот рукой.

– Ну не знаю я! – услышала она крик из окна высоко над головой. – Не знаю, куда он делся!

Она уставилась на эту штуку у ног. На вид зародыш, но в то же время законченный и полноценный. Теперь вся вода стекла. Это было не млекопитающее – возможно, даже не рыба. Викторию передернуло. Она гадала, может, это осьминог на ранней стадии развития, представила себе, что в каком-нибудь китайском ресторане в фахверковом[11] домике, отстоящем от главной улицы, треснул аквариум. Коснулась этой штуки мыском, тут же отвернулась и посмотрела вниз по склону, куда истончающейся пленкой сбегала вода.

– Какой ужас, – сказала она вслух, снова глядя на небо.

Когда через полчаса она поднималась по ступеням обратно, побродив по другой стороне Севернского моста, смотреть уже было не на что. Вода высохла. Зародыш – если это был зародыш – пропал. Вокруг высились стены из песчаника и замызганные окна, немые и пустые. Она поторопилась по лестнице обратно на торговые улочки. «Сейнсбери» нашелся сразу, окруженный акрами ярких и пустых парковок; а вот «Маркс и Спенсер» от нее скрывался. Наконец она наткнулась на кафе под названием «У Перл», пристроившееся на площади за магазинами. Внутри было

пусто, не считая старика, который сидел за столом и неторопливо ел фасоль на тосте. Посреди зала стояла женщина в розовом комбинезоне и таращилась в окно с задумчивым выражением, словно начала что-то делать, а потом забыла что. Увидев Викторию, она зашла за стойку. На кармане ее комбинезона было прострочено имя «Перл».

– У вас есть вайфай? – спросила Виктория.

– Есть, но он никогда не работает.

– Но попробовать можно?

Старик перестал жевать, чтобы следить за разговором. Глаза у него были воспаленные, кожа натянулась на как будто хрупких костях лица; суставы пальцев и запястий были распухшими и больными. И все же в нем чувствовалась какая-то живость. Перед тем как выйти в то утро из дома, он надел семидесятническую нейлоновую гоночную куртку и аккуратно причесался. Теперь он со скрипом отодвинулся на стуле, со скрипом пододвинулся обратно и, добившись таким маневром внимания Виктории, произнес:

– И дверь неплотно прикрыта.

– Простите, – сказала Виктория. – Это я виновата.

– Ей нужно прям колотить. С силой. Все мои годы не закрывается как следует.

– «Все мои годы», – передразнила Перл. А потом – Виктории: – Чем могу помочь?

– Пирог у вас на вид вроде ничего.

– Морковный пирог Перл, – сказал старик как будто про себя, с каким-то задумчивым презрением. – Кому-то, видать, нравится, но я не большой охотник.

– Доедай уже свою фасоль, – сказала женщина за стойкой. – Или выметайся отсюда.

Он уставился на нее, потом в сторону.

– Какой-то он не такой, – пожаловался он. – Почему-то с рыбным привкусом. – Старик бросил вилку и нож на тарелку.

– Можешь выметаться, я не шучу.

– Твой дедушка работал в шахте, – сказал он. – Тебе-то не понять, что это такое. Каждый час каждого дня – на коленях в затопленной яме под Пекфортоном. – Его глаза увлажнились. – А потом, выйдя на пенсию, он забрал вместе с собой из тьмы семь белых пони…

– Пошел вон, если не заткнешься. Я не шучу, старый хрыч.

– Его жизнь подошла к концу, но он решил сдержать слово и подарил им хороший дом, как и обещал.

Поскольку эспрессо здесь не подавали, Виктория взяла морковный пирог с чашкой чая. Пароль от вайфая предъявили на

бумажке в рукописном виде. Каждую 2-ю можно было прочитать как Z, каждую 5-ю – как S; прописная I могла быть как строчной l, так и просто 1. Она сидела за столиком у окна, методично перебирая комбинации. Приходили и уходили группки посетителей – женщины с младенцами или лакленд-терьерами; туристы, вскарабкавшиеся по склону от многолюдных исторических достопримечательностей вдоль реки. Все трепались. Виктория взяла еще чай.

К обеду кафе заполнили бригады мужчин с местных строек. В своем одночасовом отпуске они кричали от смеха из-за статьи в «Сан», от них запотели окна; но с женщиной за стойкой вели себя тихо и осторожно. В них сквозила опасливость детей. В ответ Перл их безжалостно дразнила. Она была высокой, моложе, чем дашь с виду, нацепляла пустую кривую улыбку, не совпадавшую с языком ее тела. Для них между ней и ее поверхностью всегда будет стоять преграда; искусственный раздел. Она будет ценить его и поддерживать с умом. А что еще остается в мелком городишке на пути из Шропшира в никуда? А если – как станет очевидно потом – в ней и есть что-то еще, то эти мужики в сигнальных куртках и строительных касках никогда не догадаются что.

– Перл – красивое имя, – сказала ей Виктория, когда все ушли.

– Заслуга вон того старпера, – ответила она. – Иногда мне нравится, иногда – нет. – Она стояла и вытирала руки впитывающей салфеткой. – Так у тебя работает? Пароль?

– Вроде да.

Перл задумалась.

– Пароль либо работает, либо нет, – пришла она к выводу. Виктория рассмеялась.

– Пожалуй, правда.

– Тут все без «пожалуй» ясно. – Настала пауза. Потом она, отведя глаза, тихо сказала со своей кривой улыбкой:

– Я знала твою мать.

Это было так неправдоподобно, так внезапно, совершенно необъяснимо, что Виктория решила, будто ослышалась. Она встала, закрыла, не выключая, ноутбук и положила на стойку деньги, словно стойку кто-то обслуживал. Ей было стыдно. Она видела, как на улице чертит длинные неподвижные линии дождь. Старик тоже таращился на него. Он осторожно собрал остатки фасоли на краю тарелки; доел тост. «Ты была моей жемчужиной, – пробормотал он, сделав ударение на глаголе, словно придавая ему силу давно принятого решения. – Я назвал тебя „Перл“, потому что ты была моей жемчужиной». Потом: «На

твоего деда мы смотрели, как на бога». От столешниц отражался тусклый металлический свет, и его дочь, которая теперь вряд ли бы прибавила что-то еще, начала протирать их салфеткой.

На пороге, не желая уходить на такой застывшей ноте, Виктория сказала через плечо:

– Никогда не могу понять, когда кончается утро, а вы?

Родители и дети, думала она потом. Что тут скажешь?

Ее мать блуждала по этому дому так же, как и она. Как и Виктория, половину вещей она не распаковала, только вытащила картонные коробки на середину комнат и распахнула клапаны в надежде, что ее еще способны удивить собственные пожитки. Новая жизнь захватила раньше, чем она разобрала вещи, а потом уже было поздно. Ковры, скатанные и заклеенные скотчем, стояли торчком по углам. Кровати добрались до спален, но фотографии, упакованные грузчиками в коричневую бумагу и полипропиленовую ленту, так и стояли вдоль стен, словно завернутые плиты мостовой. Виктория нашла дело получше. Любопытное, не столько нерешительное, сколько беззаботное; изучение интересного набора пожитков, не имеющих никакой или почти никакой связи с той женщиной, которую помнила Виктория. Туфли не в ее стиле. Джинсовки с перламутровыми пуговицами. Освежитель воздуха, обещавший аромат прибрежной прогулки. Листовки от ресторанов фастфуда, копившиеся в сугробах на кухонном столе. К доске у холодильника были приколоты списки местных мастеров – один нацарапал поперек своего флаера «Что угодно!», и именно ему теперь звонила Виктория.

– Алло?

Молчание на другом конце.

– Это… – Она посмотрела на флаер, – Крис?

Без ответа.

– Ну, – сказала она на случай, если говорит с автоответчиком, – я еще перезвоню.

И тут же отозвались:

– Кто это?

– Я хотела поговорить с Крисом.

– Он сейчас в такси, – произнес голос. – Со своими приятелями в Кинвере. Я могу что-нибудь записать, но не больше.

«Здесь очень по-брекзитовски, – писала она потом Шоу. – Восемь пабов на квадратную милю и глубокие чащи вокруг. Я уже представляю город своим Броселиандом, хотя деревья на главной улице, похоже, вырубили уже в 1307-м». Она снова спит на диване, рассказывала она. «Но теперь со свечками и всем

прочим».

В одной из коробок матери она нашла новенькое издание «Детей воды». Стала развлекаться тем, что скидывала отрывки Шоу. Малыш Том плохо себя вел. Бросался камнями. Сбежал через топи у Хартовера и Льюитвейт-Крэга к реке. Сорок страниц – и он уже был ходячим приколом, возможно, вообще погиб, отчаянно мечтал стать рыбой, младенцем или обоими сразу – сплошные викторианские фантазии о метаморфозе, регрессии и переходе, преподнесенные в виде нравственных уроков. «Вот видишь, – дописала она. – Мои письма читать надо. Спорим, у тебя жизнь не такая интересная, как у малыша Тома!» Она знала, что на самом деле не закончит на такой ноте: но уже от одного написания возникало ощущение настоящего разговора. Не хуже двух бокалов красного. «Наверное, мебель матери я оставлю, – призналась она. – Всю свою я продала». Из-за этого она снова вспомнила о доме, огляделась и передернулась от удовольствия.

На следующий день не успела она подняться из постели, как зазвонили в дверь. Открыв, на пороге она обнаружила отца официантки Перл. Он был на десять сантиметров ниже Виктории. Насвистывал. Сзади над воротником куртки «Кастрол» влажно завивались волосы. На солнце он выглядел куда бодрее.

– У меня была свободная минутка, – сказал он. – Вот я и зашел.

В ответ Виктория только смотрела на него.

– Крис, – сказал он. – Крис. Крис со вчерашнего вечера.

– Вы всегда отвечаете на телефон так, будто вы кто-то другой?

– Я ненадолго, – сказал он.

Они глазели друг на друга. Ситуация казалась патовой. В конце концов он поднял пластиковую спортивную сумку.

– У меня тут все, что может понадобиться, – сказал он.

– Если бы я еще только объясняла, что может понадобиться.

– Неплохо бы чашечку чая, раз уж ставишь чайник. А пока ты займешься, я тут огляжусь. – Он улыбнулся и пошел на второй этаж с таким видом, будто он тут хозяин, бросив через плечо: – У меня есть все, что может понадобиться. Не волнуйся.

Виктория кипятила воду и кипятилась сама. Она слышала его на первой лестничной площадке, потом – на расшатанных половицах у туалета. Загремела сумка с инструментами. Он шипел и насвистывал про себя. Он был жалок. Простукивал то да се. На втором этаже поднялось окно, потом заскрипело обратно. Виктория чувствовала себя так, будто ей здесь не место.

– Как там чай? – крикнул он. Спустившись за чаем, он сел и заодно съел бисквит. Казалось, он принес с собой на кухню запах.

Точно она не чувствовала, но знала, что запах есть.

– Люблю присесть с бисквитом, – сказал он. Она пододвинула к нему всю пачку.

– Угощайтесь.

Он улыбнулся, будто ничего другого и не ожидал.

– От рождения я Крис, – сказал он, – но в Кинвере меня знают как Осси.

Сквозила в нем какая-то лихость, поди ее еще объясни; в то же время он напрашивался на сочувствие. Если последить за ним минутку, было видно, что держится он странно и ходит с намеком на хромоту; вечно утирает глаза.

– Здоровье неважнецкое, – сказал он с каким-то удовлетворением. – Всю жизнь такое.

Раньше у него был рак кишечника, но его вылечили; его кашель когда-то принимали за асбестоз. К тому же не гнулось левое запястье – результат падения с городской рождественской елки в 1999 году.

– Я развешивал гирлянды, – сказал он. – Вот ведь ввязался, – а потом: – В том году украшения не сняли вовремя. В результате пострадали мы все.

Он с трудом справлялся с отверткой.

– Здесь в электрике хватает изношенной резины, – сообщил он Виктории, слопав половину пачки шоколадных угощений. – Только тронь – вся осыпается.

А значит, нужно менять всю проводку. Так она и думала.

– Впрочем, – заключил он, – и хорошего нового неопрена хватает.

– Вы же ни с чего не упадете, пока будете работать? – спросила Виктория.

К обеду он все еще был в доме, дергал провода на чердаке.

– Могу накормить тушеной фасолью, – предложила она.

– У меня к ней душа лежит уже не так, как раньше.

– Ну, а можете еще перед уходом посмотреть заднюю дверь?

Задняя дверь висела криво и казалась самодельной: четыре вертикальные доски слегка разной длины, еще три – приколочены поперек; все это густым слоем покрыто старомодной бледно-голубой краской. Виктория влюбилась в дверь. Безопасность гарантировала коллекция засовов, некоторые намертво заржавели в открытом виде. Была и древняя защелка. Выглядела дверь так, будто служила дому уже многие десятилетия, а до того – еще и какому-нибудь амбару. От сырости она разбухла в косяке. «Проще новую поставить», – сказал старик. Впрочем, стоило ему только прикоснуться – и она открылась. Через порог на кухонную лестницу пролился свет – резкий, но прелестный. Ее сад! На миг

он казался слишком ярким и идеальным, чтобы в него входить, – точно лесная поляна.

Старик собрал инструменты, застегнул сумку на молнию и потряс рядом с ухом. В коридоре надел куртку.

– Не придумали еще такого, чего нельзя починить, – сказал он. И, задержавшись с левой рукой наполовину в рукаве: – Тебе понравится в саду.

– Как там Перл? – спросила она перед его уходом.

– Хороший вопрос. – Он уже был на улице, смотрел на небо, поднимал воротник. – Как там знаменитая Перл? Я бы сказал, верит самой себе как никогда. Когда-нибудь она завернет за угол и тут-то обнаружит, что мир изменился.

– Мне она показалась очень хорошей, – окликнула Виктория вслед.

– Я ей передам.

Она прибралась после него; потом вышла через заднюю дверь.

В жизни Виктории сады всегда были чужими. Она их любила, но ничего в них не понимала. Этот – достаточно запущенный, чтобы бесследно впитать любые старания, – на самом деле был сразу двумя садами. Ближайший, за щелью в разросшемся самшите, – был длиннее, на пригорке, с прямоугольной лужайкой в окружении флоксов, наперстянок и монбреций. К дому кренился сарай из белого гонта, с облупившейся краской и выпавшими окнами, а в уголке между постройками на солнцепеке росла роза – такая старая и голенастая, что всего толку от нее было подпирать зачахший ствол куста лаванды еще старше, цвета речной коряги. Все границы сада были обложены в эдвардианском стиле камнем цвета ячменного сахара, все тропинки заросли геранью Роберта и одуванчиками.

В противоположном конце, под аркой, скрывшейся под прерафаэлитскими вьющимися розами белого цвета, две-три низкие каменные ступеньки вели в нижний сад. Там посадки как будто бесконечно тянулись прочь, хотя не могли быть длиннее метра-другого. Там все было высоким, дремучим, густым, слишком переплетенным, чтобы пройти, все менялось от ухоженного до запущенного. Посреди этой неразберихи скромно и тихо раскинулась вторая лужайка – словно лесное озерцо, подернутое плоской зеленой ряской. На нее между окружающими домами падали под крутым углом лучи. Сбоку, рядом с элегантно потресканными горшками, сидел черно-белый кот, облизывая лапы в пыльном гулком солнечном свете.

– Привет, – прошептала Виктория.

Из открытого окна ниже по склону донеслось несколько нот

пианино. Кот, удостоив Викторию кратким взглядом, удалился.

Позже она отчего-то задержалась на кухонной лестнице, задумчиво открывала и закрывала заднюю дверь, словно репетировала ее возможности. Отчасти Виктория мечтала, чтобы дверь оставалась заклинившей, потому что не хотелось, чтобы сад был даром Осси, его милостью. Все время, пока он был в доме, он сбивал Викторию с толку. То этот его кашель. То факт, что она не верила ни единому его слову. Еще больше – мягко обветренная кожа, не напоминавшая ни один известный ей материал и по-своему красивая. Она знала, что слово «красивый» подходит и отцу, и дочери, каждому – по-своему; но при этом и не подходит, особенно для отцовской кожи, и голос у него – то нахальный, то тихий и разбитый возрастом, а часто – все сразу.

Такие мысли приходили и уходили, пока она открывала и закрывала дверь. Но мысль, от которой избавиться не получалось, говорила, что Осси уже бывал в этом доме; что на самом деле он знаком с ним ближе, чем мать Виктории, чем будет знакома сама Виктория.

7
Глубокие дороги

Воскресное утро, несколько дней спустя.

Словно заканчивая спор, начатый в другом месте, Виктория неожиданно проснулась с мыслью: короче, быть хозяйкой – странная штука.

Было пять утра. Спальню наполнял свет, ретранслированный из синего-синего неба фасадами через дорогу. Она еще повалялась минуту-другую, слушая, как в дальнем конце улицы перелаиваются собаки, содрогаясь от восторженного ощущения пространства вокруг, которое теперь принадлежало ей:

Пространство внутри дома. Пространство внутри улицы снаружи дома. Пространство внутри городка вокруг этой улицы, пространство внутри страны вокруг городка. Звание хозяйки допускало ее в эту огромную прозрачную матрешку географии, растягивая вдаль свет и воздух вокруг, все – новые, все – ее. Спускаясь на первый этаж, она мешкала у каждого окна на лестничных площадках. Ну и что, думала она, если заднюю дверь открыл кто-то другой? Сад – со всеми его еще не цветущими и потому нелепыми на вид алтеями – ее. В коридоре она нашла прогулочные ботинки – хорошего бренда, почти неношеные. Обулась и отправилась прямиком на улицу.

Старые тропинки за домами, запрятавшиеся между боярышником, терном и ежевикой. Металлическая калитка-вертушка, прерывающая заросшую живую изгородь. Появлялись и исчезали собачники, редко встречаясь ближе, чем в небольшом отдалении. Уже теплело. На каждом поле, обнаружила она, – свои вышки ЛЭП; на каждом поле – свой пруд. Вышки издавали интересный приглушенный звенящий лязг, словно завод по бутилированию, который слышно на ветру на пятикилометровом расстоянии. Вода местами казалась мелкой, местами – глубокой. Одни пруды украшал собственный столб – или пара ив либо коров; у других бродила одинокая болотная курица. Если подойти поближе, то они все выглядели недавними; все – без пляжей, словно воду залили в травянистую впадину только прошлой ночью. Они поблескивали на стеклянном свету.

В двух километрах от городка, где земля резко проваливалась лесистыми склонами, обращенными на север, Виктория слышала, как мужчина кричит в деревьях «Мойя!» – а может, «Вийя!» Голос был легким, с какой-то незнакомой ей мидлендской интонацией.

Голос с радушным оттенком тенора; ласковый, ни в коем случае не властный, но все же по сути требовательный. Так могли звать и женщину, и собаку. Вряд ли ребенка. На миг Виктории померещилось, что она увидела хозяина голоса – невдалеке, легко шагающего вниз по склону с руками в карманах. Она помахала.

– Замечательное утро, правда?

Ноль внимания; и, хоть ей все равно пришлось следовать за ним, потому что туда вела тропинка – сперва завиваясь через дубы, березы и падуб, а потом – через ясень и вязы, – она так никого и не догнала. Потом она слышала его время от времени, то близко, то далеко, кличущего своего непослушного компаньона из какой-нибудь заросшей горной воронки или заброшенной печи для обжига известняка. Лес был мягким. Его случайным образом рассекали ленивые ручейки. Под сфагнумом, папоротником и коростой опавшей листвы на черной грязи лежала та смятая и парадоксальная страта, из которой почти тысячу лет выдалбливали местный доход. Уголь – для цистерцианцев в аббатстве; потом – известняк; потом – железо и глина для фабрикантов с их речами в духе Кремниевой долины, с их обещаниями будущего, с их поместьями под названиями «Парадиз» или «Рай». Дальше, над старой железнодорожной веткой в конце карьера, брызгал худосочный водопад; во мху электрически флуоресцировал свет. Никакой живописности, как можно было ожидать. Поэтому, услышав «Майра!» совсем близко и где-то сзади, Виктория вздрогнула и пошла домой, где перекусила кукурузными хлопьями и довольно внезапно для себя заснула на диване.

Проснулась уже днем. Ей что-то снилось, но она не помнила что.

Первым делом она услышала «Поди сюда!» сразу перед домом.

Подскочила и уставилась на улицу. Ничего. Воздух стал влажным; запахло бензином. Она никого не видела. Перешла к задней двери, но ту опять заклинило.

– Мойа? – Затем пауза и уже удаляясь от Виктории: – *Войа!*

Намного позже, перед самыми часами закрытия, под завершение этого загадочного дня, ей снова послышался звавший голос, прямо через дорогу, а потом – слившийся с общим шумом городской ночной жизни. Она как раз сортировала вещи матери: тут – коробка с куклами, там – стопка фотографий из 1970-х в бумажных конвертах, пролившиеся на пол передней комнаты передержанные лица. Она подошла к окну, но смотреть там было не на что. Слышалось только, как вдоль по всей улице в последний раз опустошались и заново наполнялись пабы, словно

в перильстатике. «Подь сюда. Подь сюда». Вернется ли к нему Вийа или Мойра? Кто кого наказывал? Попробуй угадай. Виктория попыталась представить собаку – патердейл-терьера, парсон-рассела – с грубой шерстью, извалявшегося в грязи, упрямого – все еще полного сил после целого дня в лесу; но в итоге воображения хватило только на какую-то незадачливую сельскую готку, тощую, но со слоем мягкого жирка под белой-пребелой кожей, для которой не обращать внимания на свое имя, доносящееся из дверей паба, – это еженедельный бунт против слишком тугих уз. Виктория передернулась, закрыла ставни, собрала фотографии. Написала Шоу.

> «Я чувствую вокруг разные пространства. Пространство на чердаке, пространство в подвале, пространство на площадке первого этажа, которое отличается от пространства площадки на третьем не просто формой, но и тишиной, и резонансом, и тем, как движется воздух. Обожаю этот дом! Сижу на лестнице и читаю в солнечном свете. Здесь у меня столько тишины. Словами не передать, какое это облегчение после Лондона!»

Потом добавила:

> «Впрочем, местные могли бы быть и поспокойнее».

Виктория двигала материну мебель по спальне, пока ее не устроила расстановка. Она знала, что никогда не сможет жить с полками, выпятившими напоказ свои цветастые изгибы, напоминающие губу; стоило отодвинуть шкафы, как со старых дюбелей посыпалась штукатурка, будто сырой тальк. Она вложила палец в одно из отверстий и почувствовала слабый электрический пульс, маленький проблеск жизни, словно дом заговорил с ней. Говорил он по-разному. Требовали внимания половицы. Как только смеркалось, щиток опять отрубал все, кроме сети на кухне. На кухню просочилась вода из неустанной утечки в ванной комнате сверху – какие-то неполадки с трубой биде. Брусья колонизировал древоточец, и по ночам в глубине дома слышалось его тиканье, словно от каких-то старых узкоспециализированных часов.

– Обшивке на стенах конец, – объяснил ей плотник. – Настолько старый дуб становится либо как железо, либо как мокрый песок. Но все-таки спасем, что получится.

Тем же утром поставили леса для работы на крыше. Дом уже

месяц наводняли мастера. Они разбили здесь лагерь. Как и плотник, это были пятидесятилетние мужики с уличными лицами и всесторонними навыками. Приходили они по рекомендациям, часто – друг от друга или от отца Перл, напоминая его своим странно поизносившимся внешним видом, – и с собой приносили оккультный багаж из религии, алкоголя, потери слуха из-за грохота, больных легких и серьезной мотоаварии в тридцатник; багаж из целой жизни контузий и переломов, шунтированных в последнюю минуту артерий. Они были общительными, но под поверхностью – застенчивыми. Всегда просили чашку чая, но сэндвичи приносили свои или в обед ковыляли вниз по улице в старомодную чайную под названием «У Бренды», где сидели и глазели вокруг в своих полукомбинезонах и защитных штанах, будто великовозрастные карапузы в коляске.

– Этим биде наверняка уже много лет никто не пользовался, – говорила Виктория сантехнику. – Если честно, – вынужденно призналась она, – пока что я в нем мыла обувь. В том смысле, что мне-то биде зачем? – Сантехник уставился на нее, а потом в сторону, словно вдруг о чем-то подумал.

– О боже, – сказала Виктория. – Слишком много информации?

В доме они как будто были не на своем месте. Они запросто могли построить дом, но потом не знали, что с ним делать, разве что построить еще один. Она заставала их за тем, как они таращатся в ящик с инструментами или в щелку между половицами, – пустой взгляд слезящихся глаз, словно на секунду они забыли не просто чем занимались, но и кто они такие. Кровельщику было под шестьдесят, без пяти минут пенсионер. Его звали Стив, он любил музыку, пабы и курить. Голос у него был влажным от самокруток и виски; речь – задумчивой. Жена работала старшей медсестрой. Крепко загоревшие руки были покрыты настолько выцветшими тату-рукавами, что Виктория не могла различить, каким хеви-метал-группам они посвящались. Она определяла, что день начался, когда слышала Стива на лесах: с них было видно через все графство до самых холмов Кли, пока неослабный ветер сдувает пыль со снятой черепицы, комков известки и полупустых бутылок герметика. У нее вошло в привычку заваривать ему чай, выбираться с чашкой из окна спальни, а потом аккуратно нести по последней лестнице на крышу. Этим подвигом она гордилась и любила думать, что Стив ее за это уважает.

Взамен Стив рассказывал ей о своем фургоне, который прямо сейчас не на ходу, потому что для него была нужна жизненно важная, но довольно простенькая запчасть. Эта запчасть шла

напрямую из Японии. Сперва надо мариноваться семь недель в списке ожидания, говорил он; а потом с тебя требовали ровно семьсот фунтов на бочку.

– Машины собирают в Испании, но цепочку поставок настолько зарегулировали, что с конвейера не снимешь ни болтика. Штучно приходится заказывать аж из Японии.

– Семь сотен фунтов? – переспросила Виктория.

– Семь. Сотен. Гребаных. Фунтов, – подтвердил он скорее удивленно, чем сердито.

Через какое-то время он показал на крышу, словно все это время черепица являлась подмножеством их беседы.

– Но вы не волнуйтесь. Второй раз делать уже не придется. Теперь она нас обоих переживет. В моем случае это нетрудно.

Он прижал ладонь к черепице.

– Быстро нагревается, – сказал он, – медленно остывает. И если сегодня будет так же, как вчера, то для меня это просто идеально. Просто идеально. – Первый слог он произносил как «пор-р», оставляя заметную паузу перед вторым. – Смогу управиться. – Потом, глядя над крышами в сторону Бирмингема: – Конечно, раньше у нас в стране было собственное производство.

В день, когда он уходил, она залезла по лестнице, чтобы передать чай и деньги, и обнаружила, что он уже убрал верхнюю площадку. Мусора как не бывало. С одной стороны виделись ряды аккуратно выложенной черепицы. С другой – проваливался к Северн городок, сияющий, оживленный и жизнерадостный. Тем утром ей все казалось таким *упорядоченным*, словно Стив спокойно починил не только крышу, но и весь мир заодно. Теперь он грелся на солнышке, сидя на своей сумке с инструментами, и листал книжку с мягкой обложкой; закрыл ее и предложил Виктории.

– Никогда не читали? – спросил он. – А то теперь ее читают. Многие.

Вот этот жест Виктория не поняла – позже она будет думать, что он каким-то образом разорвал связь между ними. Ей от Стива было нужно, чтобы он, как обычно, взял чай и поздравил ее: «Пор-росто идеально! Ни капли не пролили!» А книжка ей не нужна, особенно «Дети воды», поэтому она стояла и протягивала ее обратно, не зная, что сказать, но наконец выдавив:

– У меня такая уже есть, спасибо. От мамы.

– Все равно оставьте, – сказал кровельщик. – А то мало ли.

Тон, с которым он это произнес, было невозможно расшифровать. Позже, поискав мамину книжку, она так и не вспомнила, куда ее задевала.

Виктория нашла не такую депрессивную дорогу на дно ущелья, потом следовала за Северн по краю города до лабиринта религиозного квартала шестнадцатого века. Оттуда она круто поднялась обратно через Фрайарс и Ворота Святой Марии в кафе Перл. Была среда, все остальное стояло закрытым. Полдень зафиксировал старика с дочерью на своих местах, как фигуры на символической картине: одна фигура – вечно согбенная над трапезой, чьи остатки расползлись по столу вокруг тарелки; вторая – за стойкой, с мокрой тряпкой, с натюрмортом из капкейков под стеклом, со взглядом куда-то вдаль. Все на редкость отчетливое, но в то же время словно застывшее во времени.

– Привет! – сказала Виктория, захлопнув за собой дверь. – Пирог и чай, пожалуйста! – Она чувствовала, что на нее возложена обязанность пробудить их от дремы, привести в движение. – Я поднялась от реки. Хорошая зарядка! Ходила за Пекфортон-Холл и вдоль Бледных Лугов. Чудесное название, правда?

Они медленно обернулись к ней.

– В смысле, для улицы, – сказала она, – Бледные Луга.

– Ты осторожней ходи там по ночам, – произнес старик.

– Я пока найду место, – сказала Виктория, будто все было занято.

Неизвестно, что день делал в других местах, но по ту сторону запотевших витрин кафе пришел и ушел интересный свет, в котором были представлены сразу несколько оттенков, но все – бледно. Когда после обеденного наплыва стекло прочищалось, ты обнаруживал, что видишь стоянку, паркомат и желтый контейнер с песком, похожий на пластмассовую игрушку, последние два – такого вида, будто их неумело прифотошопили поверх пейзажа. Иногда там парковал свою машину старик – выцветшую «Тойоту» бизнес-класса с отметкой такси на боку. Оставлял ее под дождем на целые дни, внезапно выезжал по телефонному звонку, потом возвращался съесть три сосиски и картофельное пюре с луковой подливой и сетовать на все, что его заставляют делать. Из-за глаз – красноватых, опасливых, влажных в уголках, с веками мягкими и затертыми, как старый бумажник, – он выглядел как-то неопределенно и равнодушно. То и дело сморкался.

– Надеюсь, я закрыла дверь как следует, – сказала ему Виктория.

Он пристально посмотрел на нее, потом вместо ответа подвинул тарелку в сторону, отвернулся от Виктории всем телом и уставился в стену. Затем набросился на еду, как оголодавший, согнувшись над столом и забрасывая еду в рот сразу и ножом, и

вилкой.

– Не обращай на него внимания, – посоветовала Перл.

– Я к вам сбежала от строителей, – сказала Виктория. – Они все такие странные.

Перл улыбнулась, глядя в стойку.

– Семь гномов-мастеров. Стив, Дози, Бики, Мик и Титч.

– Значит, ты их знаешь?

– Ты лучше спроси, – сказала Перл, – кого я не знаю.

Старик уронил вилку и нож на тарелку.

– Ты не знаешь, как считать, – ответил он. – Это я могу сказать со всей уверенностью.

Она вышла из-за стойки, взяла тарелку и стала протирать после него стол.

– Ему не хочется, чтобы ты называла его *Крис*, – бросила она Виктории через плечо, будто они в кафе одни и ведут совершенно отдельный разговор. – Ему *не нравится* имя «Крис». Ему хочется, чтобы ты звала его так, как зовут в Кинвере. Как там тебя зовут, пап? Как тебя зовут, когда ты их там развозишь, когда бог пошлет? – Он вдруг испуганно скривился, и она рассмеялась. – Малыш Осси? Так там тебя зовут?

– В общем, по-моему, Бледные Луга – чудесное название для улицы, – сказала Виктория.

– Но ты знаешь, что оно значит? – сказала Перл. Последний раз сердито мазнула тряпкой по столу, потом ушла раньше, чем Виктория успела ответить.

– Ты осторожней ходи на Бледных Лугах по ночам, – повторил старик.

Глаза были в нем самым старым, самым изношенным. И все же на донышке синевы его радужки что-то все еще терпеливо поблескивало – поневоле задумаешься, нет ли того же и в хрупких костях его глазниц. В дождливый день кафе как будто разговаривало само с собой музыкой восьмидесятых и девяностых, выставленной на задумчивую громкость, и его дочь посмотрела в окно и прошептала:

– Всю неделю льет без остановки.

Погода держалась прежняя. Прогулки Виктории удлинялись. Дом эволюционировал без ее ведома: с каждым возвращением что-то менялось. Лестница, заново оштукатуренная и покрашенная «Легкой Нейтральной Краской», пела от света. По вечерам теплый воздух накрывал сад, пока она молча стояла босой на газоне – думая, что еще поменять, рассеянно слушая выпивох на улицах, лай собак на окраинах городка – и глядя, как цветы блекнут бледным неоном в полную тьму. Мастера уходили один за

другим. Инженер центрального отопления, который держался особняком и приступал к работе, только когда заканчивали остальные, ушел последним. Леса уже сняли, за одно утро, – они шест за шестом звенели о кузов поджидающего грузовика, словно детали экспериментального ксилофона. Чувствуя легкое одиночество, она перешла дорогу и сфотографировала дом на телефон. «Потому что я хочу получать удовольствие от жизни, – думала она, – возможно, впервые».

Фасад, бледно-серый с известняково-белым, сиял в свете обеденного солнца – живительный эффект, хоть и контрастирующий с ошпаренным на вид мидлендовским кирпичом дома 91 – второй половины первоначальной постройки. Викторию еще не убедил собственный выбор. Скорее корректный, чем дерзкий: единственный риск – что эти краски будут жить вместе долго и счастливо – или достаточно счастливо, – но выглядеть при этом так, будто молча тоскуют по какой-нибудь приличной улочке у Клапем-Коммон.

И все же она думала: «Это мой дом. Идеально!»

Тут дверь дома 91 с грохотом распахнулась, и из нее вышла Перл. На ней были белая футболка и вареные джинсы-бойфренды; в локте зажат пакет из химчистки со своей рабочей формой. Она помахала, обернулась запереть за собой дверь, а затем, снова открыв и крикнув внутрь: «Тогда не забудь занести их попозже, а то его удар хватит!» – подошла к Виктории, которая от удивления потеряла дар речи.

– Ну, теперь стало совсем красиво, – сказала она.

– Ты так думаешь? – спросила Виктория. А потом застенчиво: – Входная дверь – цвета «лондонская глина».

– Вот, значит, как это у них называется.

– Я и не знала, что ты живешь по соседству. Ты ни разу не говорила.

– Мы и не живем, – сказала Перл. Весь дом, объяснила она, принадлежал отцу Осси, которого звали Старым Осси и который устроил здесь паб. До его смерти здание целиком было пабом, а потом его сын снова поделил дом надвое.

– Потом здесь находился склад, пока Осси не продал вторую половину твоей матери. – Она улыбнулась из-за выражения лица Виктории. – О да, я и маму твою знала. Когда-то мы с ней были близки. Мы с ней плавали. Часто. В основном в бассейне, но иногда я подбивала ее и на речку.

Виктория только глазела в ответ.

– Боже мой, – сказала она.

– Она была сильной пловчихой.

– И представить такого не могу.

– Ну, это правда, – сказала официантка. – С ней все было хорошо, с твоей мамой.

После этого необъяснимого вердикта Виктории уже как будто нечего было добавить. Оставалось только прикрыть глаза ладонью и рассматривать фасад дома 91, где окна первого этажа рассекались под странными углами серыми обвисшими изгибами тюля, а слабое, но заметное потемнение в полуметре под стоками напоминало отметку прилива на высоте десяти метров, словно улицу затапливало во времена, когда та находилась куда ниже верхушки холма. В небе над проседающей крышей побежали белые облачка; на их фоне прорисовались силуэты стеблей кипрея – цветущие, буйные. В конце концов Виктория покачала головой. Получалось представить только одну жидкость, в которой плавала ее мать, – джин-тоник.

– Я и не думала, – сказала она.

– Смотреть тут особо не на что, да? На этой улице рано или поздно каждый дом побывал пабом. Мы здесь жили, пока мне не исполнилось десять, но, когда умер Старый Осси, переехали жить к остальным в Ущелье. – Она неопределенно махнула на север, где главная улица сворачивала на Вулпит-роуд, а потом тут же проваливалась между новостройками и редкими рощами к Северн. – Там тоже сперва был паб. Пабы всегда были излюбленной профессией этой семьи, – объявила Перл так, словно сама – из какой-то другой семьи. – Нам это очень помогло, – подытожила она.

Ветер слегка усилился, принес запахи жарки и тихое пение соек, стороживших руины крепости Джоффри де Лейси. Наверное, испытывая собственную силу, он зашуршал пакетом из химчистки в руке Перл. Та рассеянно опустила глаза и снова отвернулась.

– Знаешь, что нам нужно? – продолжила она. – Теперь *нам* нужно сходить поплавать! Нам с тобой!

Виктория содрогнулась.

– Это вряд ли, – сказала она. – Ненавижу воду.

Устыдившись собственной запальчивости, она была вынуждена прибавить:

– Прости, я не хотела так резко!

Перл только отвернулась к главной улице, чему-то молча улыбаясь. Помахала и крикнула: «Как сам?» кому-то, кого Виктория не видела. Потом посоветовала:

– Надо чаще пробовать, когда предлагают. Я и маме твоей так часто говорила.

– На этих выходных я хотела купить розы для сада, – сказала Виктория, а потом добавила раньше, чем подумала: – Хочешь со мной?

В десять утра следующей субботы они сели в «Фиат», чтобы Виктория быстро доставила их на северо-восток городка, где они планировали разыскать в лабиринте дорог Чайлд-Беквит – особняк шестнадцатого века в стиле греческого возрождения, перестроенный в начале 1830-х. Прибыли они скорее к полудню, чем к одиннадцати, и парковка уже была забита. От хрома внедорожника прошлогодней модели отражалось яркое солнце, обливая светом темные тисы вокруг. В деревьях носились ватагами по трое-четверо молчаливые целеустремленные дети, увлекаясь каждым ручейком или болотцем. Чистейший музейный опыт. Платишь, покупаешь аудиогид, сбегаешь из сувенирки в старой конюшне – и мгновенно окунаешься в чье-то представление об истории: девяносто гектаров парковой территории с двумя искусственными озерцами, обширными лесами и храмом с ионическими колоннами. Вниз от древних кедров сбегали длинные лужайки; формальные тропинки под ногами становились мшистыми и бесшумными, заводили лишь в задумчивые кущи; а за главным зданием под ногами гулко звучали ступени и плиты из песчаника.

– Приятно куда-то выбраться, – сказала Перл, – хотя не знаю насчет такого количества урн.

Современные Беквиты давно перестали воспринимать поместье как финансовый актив – теперь у них были интересы в Гонконге, Пало-Альто и Дубае, – но все же поддерживали его из ностальгии по традиционному семейному делу, до сих пор процветающему – буквально – на двух акрах огороженного забором сада, который патрулировали знаменитые «павлины Чайлдов». Здесь в качестве выгодного фона для нескончаемой драмы роз – их непокорного, по сути своей, трагического изобилия – выбрали лучезарный формализм. Каждая скрупулезно ухоженная клумба напоминала проход в цветочном супермаркете с арками в двух концах, огражденный длинными, низкими, свирепо геометрическими изгородями самшита. В одной радиальной аллее цвет роз изобретательно сменялся от белого к желтому; на середине другой слабейший румянец розового заставал врасплох, без предупреждения брызгая кровавыми оттенками, и быстро бледнел до фиолетового. В центре розария окруженный теплыми бортиками из известняка находился длинный тонкий прямоугольный пруд под присмотром одинаковых каменных скамей. Здесь день за днем длился «бунт красок» – росли душистые гибриды такого вида, словно их наспех сложили из выцветшей бумаги; массы диких роз, изящных и хрупких. Беквиты, радуясь возможностям полностью

картированного генома Rosa, ожидали новые виды культивации – искусственные цвета, неслыханные ароматы, расширенные рынки. А тем временем куда ни пойдешь в саду, придется пробираться мимо охапок решительной старинной многоцветковой розы беловатого оттенка (названной в 1852 году «Вивьен Дюлак», но с 1979 года известной в семье как «Железная Леди»).

Зрелище было не хуже, чем обещали брошюры: и все же Викторию это не столько взбудоражило, сколько подавило. Сразу столько любимиц в одном месте – это ее словно сперва ошеломило, а потом вовсе загнало в депрессию. Цветы, набитые в невидимые клетки рассад, напоминали пойманных зверей – страдающих от территориального стресса, но в то же время вынужденных жаться друг к другу ради поддержки и утешения.

– Это же просто зоопарк, – сказала она. Потом прочитала вслух брошюру: – «„Шропширская дева“ – подходящая пара для нашей популярной розы „Шропширский юнец“. Новинка этого года». – Она беспомощно огляделась. – Я понятия не имею, что мне нужно.

– Обед. Нам нужен обед.

– У таких людей всегда был личный зоопарк.

В чайной подавали сконы и местный сыр – с огурцами, засоленными с диким чесноком по семейному рецепту семнадцатого века, – на террасе, где между тонкими железными столиками в итальянском стиле безутешно бродил уиппет цвета латте. Найти, где сесть, было непросто. Позже пролился предгрозовой свет, плоско прильнул к каменным плитам, придавая им угрюмый глянец; на южном перегретом горизонте под облаком архитектурного вида разлеглись низкие холмы. К тому времени Перл уже заскучала. Поедая обед на манер бургера, она выронила дольку огурца на свой выцветший джинсовый комбинезон. Изо всех сил старалась завлечь уиппета остатками скона, но только расшатала ему нервы. Он выпучился на Перл так, словно она подбивала нарушить один из самых аккуратно привитых ему моральных императивов, а потом уковылял и наблевал кому-то под ноги.

– Он плохо переносит жару, бедняжка! – крикнула им Перл и пробормотала Виктории: – Сейчас уйдут. Вот тебе и способ освободить столик. Больная собака. У меня точно так же с запахом душистого горошка.

– Я за нас заплачу́, – предложила Виктория.

– Мы уже заплатили, милая. Иди и выбирай свои розы, а я пока тут погуляю.

– Уверена?

– Если заскучаешь, я буду у твоей маленькой машины. Или

внизу, у озер.

Но они разминулись и на стоянке, и на обоих озерах. Виктория полчаса бродила по лесу. Каждый холм или дол выглядели как идея о себе, созданная на основе плохо завуалированной цифровой модели. Вдоль их контуров в идеальном подражании трехмерности были накинуты тропинки, ведущие от ионического храма до китайского мостика, а оттуда – до оранжереи. Перл нигде не было ни следа. Не встретилась она и в галерее Элизабет Беррингтон – не затерялась там в мыслях среди коллекций серебряных туалетных приборов, гравюр по дереву с плугом, бороздящим зимнее поле, и энергичных современных статуй кроликов из бронзы с гиперболизированными ушами.

Выследила ее Виктория в центре розария. Она прохлаждалась у прямоугольного пруда, сняв туфли, вытянув перед собой ноги с мокрыми ступнями, многозначительно улыбаясь стене, заросшей кремово-розовыми столистниками. Позади нее пылали, словно фонари, уходящие в перспективу штамбовые розы; мужчина в твидовом пиджаке наклонился и похлопал самшитовую изгородь, словно с чем-то ее поздравлял. «Твердая! – окликнул он кого-то им невидимого. – Им уже много лет!» Откуда-то из-за двух садов радостно вопили павлины Чайлдов. К столистнику вплелся какой-то экзотичный клематис, белый с пурпурной полоской.

Перл прикрыла рукой глаза и моргнула, глядя на Викторию.

– Как в семилетнем возрасте, – сказала она, – когда так выглядел весь мир. – Она выпрямилась и окунула ступни в воду. По глади закружились блестящие буруны. – Помнишь, когда все выглядело вот так?

Виктория пожала плечами.

– Нам всегда так кажется. – Она, конечно, видела в пруду свое лицо; а под ним – что-то заросшее. – Только скажи, что ты туда не лазила.

Ранее была мысль закончить день в одном из пабов вдоль Северн, но к концу дня Виктория утомилась и отчего-то перенервничала. Так что она высадила официантку в городе и отправилась домой есть тушеную фасоль на тосте и писать имейл Шоу.

«Ты в жизни не видел столько роз в одном месте!

А Перл – не уверена, что ты ее поймешь. Она ни на кого не похожа – Клепальщица Рози встречает Жаклин Кеннеди, и они говорят обо всем на свете, кроме мужчин. Мне нравится. С другой стороны, есть в ней какая-то загадка: я не знаю, кто она». Признавшись в этом самой себе, Виктория ненадолго задумалась, потом продолжила: «Мое последнее открытие? Вся ее семья

раньше жила по соседству! Наверное, я никого из них по-настоящему не знаю. Но они знали мою маму – или это они так говорят. И что остается мне, одной в новом городе, как не завести друга?

В общем, – закончила она, – так я ничего и не купила. Не смогла определиться».

Потом нажала «удалить» и пошла спать.

8
«Нашей Перл не угодишь»

На улице весь день громко разговаривали.

Выходили из машин, хлопали дверцами, приветствовали друг друга в унисон, с разницей в одну октаву: «Как сам/а?» Дальше разговор часто происходил под видом прощания. Законченный раньше, чем начаться, до собственно завершения доходил он почему-то с трудом. Никто не торопился отпускать собеседника.

– Ну, бывай, увидимся в субботу. Он? Нет-нет, он не придет. Только не в понедельник…

Спустя двадцать минут они так там и стояли, по-прежнему соглашаясь как-нибудь встретиться и выпить, но откладывая, по-прежнему повторяя все дважды, по-прежнему периодически напоминая друг другу, что не могут задержаться, потому что идут в отель «Топ Тайм» или везут дверь в Чирк; или потому что в досуговом центре на Бледных Лугах набирают актеров для летней постановки «Бури» – обычная история некомпетентности и отсутствия энтузиазма всех участников. Стоило разговору закруглиться, как он начинался заново. А когда разговаривать было не с кем, люди кричали в телефоны. Виктория это обожала. Обожала их оживленность. Она до сих пор слышала «Мойа!» и «Войа!» по утрам, когда мягкая дымка в задних садах начинала наливаться солнечным светом: но теперь – чаще по вечерам, во время бесконечного радиошоу на час закрытия, чистый и зацикленный на себе гнев которого впитывался и сглаживался этим легким убедительным зовом. Когда голос удалялся, возникала иллюзия, что выпивохи следуют за ним. Но «Войа!» и «Как сам?», думала она, развеивают друг друга – каким-то образом являются взаимоисключающими настроениями. Удовольствие от «Как сам?» – в том, чтобы кричать, будто собеседник стоит на другом конце главной улицы, даже если он всего лишь в метре от тебя. Это должно звучать отрывисто, бодро, с небольшим музыкальным переливом.

Когда однажды в машине она рассказала Перл об этих и других выводах, та на миг стала раздраженной и настороженной, будто чего-то не поняла. Потом рассмеялась.

– Да ну тебя! – сказала она. – Чего тебе только в голову не придет!

– А у твоего отца есть собака? – спросила Виктория. Сама не зная почему.

Был воскресный день. План был съездить на юг в Ладлоу,

заехать по пути в Шрусбери и Черч-Стреттон, прошерстить там комиссионки и антикварные рынки. Они ждали на деревенских перекрестках под мелким дождиком, пока вереницы машин на следующих перекрестках направлялись в пустое поле, подскакивая на траве. Перл глазела в окно на ближайшую живую изгородь.

– У этого хрыча? – сказала она так, будто рассчитывает увидеть отца там, среди фекалий, пивных банок и целлофановых пакетов. – Кой толк ему от *собаки?*

– Наверно, мне просто стало интересно, вот и все.

Официантка пожала плечами.

– Он о себе-то позаботиться не может. Никто из них не может. Как он будет заботиться о живом существе?

– Это же всего лишь собака. Домашний питомец. Ты в порядке?

– Ну конечно.

Стало повеселее, пока они не добрались до Ладлоу, где проулки и пабы были набиты пиджаками «Барбур» и платьями «Боден».

– Тут почти как в «Плетеном человеке», – отметила Перл. – Только глянь на ту парочку!

Последнее – это было о паре с запада Лондона, которая, очевидно, прибыла этим же утром на «Лэнд Ровере Дискавери» 2013 года с точно такой же целью, – прозвучало невпопад: но со времен поездки к Чайлд-Беквитам у Перл на все было свое мнение. Ее целью стало развивать у Виктории вкус. Торговалась она безжалостно. На антикварных рынках графства она бы нехотя одобрила столик «Эркол», но никогда – крашеную меловой краской мебель, особенно если та вдобавок претендует на французское происхождение. В Оксфаме она призналась в остром интересе к моде от сороковых до середины восьмидесятых, к смешиванию и подборке разных предметов одежды этого периода – будто это действительно период, единый и логичный семиотический охват.

Хоть эти экспедиции и приносили удовольствие, к особой близости между ними они не приводили. Виктория и Перл славно проводили время. Всегда возвращались домой с кучей покупок. Но когда Виктория спрашивала о матери, Перл только саркастично ухмылялась – словно вопрос был самоочевидно риторическим, с забавным для них обеих подтекстом, – и медленно отодвигала через стол пустой стакан.

Потом откидывалась на стул и говорила: «Пожалуй, можно еще по одной».

Под конец дня, так ничего толком и не узнав, Виктория

высаживала Перл у западного въезда в Ущелье, где та жила в безвкусной и постоянно затапливаемой террасе в каких-то пятнадцати метрах от реки.

«Чертова Северн, – как выражалась Перл, – водный путь торговли, романтики и тайн». Изначально река – в основном находящаяся в Уэльсе – текла на север и впадала в море у нынешнего Честера. Версии о ее дальнейшем развитии разнились. По одной – представляли, что река, упершись в ледники на севере, пробурилась из-подо льда. По другой модели, как узнала Виктория, требовалось, чтобы она питала огромный резервуар с талой водой, который, катастрофически разлившись, в итоге оставил после себя рудиментарное озеро, ныне известное как Аквалейт-Мер – самый крупный природный водоем в Мидленде, но при этом, что довольно жутковато, нигде не глубже метра. Так или иначе, река успешно сбежала и умчалась глубже в Англию, яростно протирая землю до самых силурийских пород, пока не прорыла Ущелье.

В результате – поскольку откосы Ущелья набиты углем, железной рудой и ломким тонкослоистым известняком, с дегтем и огнеупорной глиной на юго-восточном конце, где склоны начинали выравниваться, – Промышленная революция была неизбежна. Сперва все эти ресурсы можно было вычерпывать из неглубоких ям; хоть лопатами выкапывай. Позже потребовалось больше вложений – прибыль от сельского хозяйства оплатила поезда на лошадиной тяге и длинные забои, дешевую рабсилу завозили из Ирландии, по склонам к верфям у реки скатывались поселения сквоттеров. На пике добывали сто тысяч тонн угля в год – неизбежно последовало производство. Кирпич и плитка, стекло, как листовое, так и бутылочное, кухонная утварь. Легендарные формы для отлива пушек и паровых двигателей. По двадцать тонн глиняных курительных трубок, чугунных чушек и фарфора на баржу.

Все это Виктория узнала из книг в коробках ее матери. Она сидела в саду на солнце. Готовила суп и салат. По ночам лежала в постели под стучащий в окно мелкий дождь и читала, что Северн и по сей день река значительная, самая длинная в Британии, после встречи с девенским льдом гнется, как скрепка, разворачиваясь на саму себя, чтобы пройти сотню миль на юго-восток от своего истока в Кембрийских горах. Немалый крюк, только чтобы прибыть к Бристольскому каналу: не ожидаешь обнаружить природную инженерию такого размаха в миле от своего дома. Однажды ранним утром где-то семнадцать тысяч лет спустя после того, как река взяла в руки свое направление,

Виктория задумчиво сидела на мемориальной скамье в миле-другой от города, где пейзаж скашивался для внезапного падения в Ущелье.

Выгнутый склон прямо перед ней усеивался молодым боярышником. Чуть дальше все пропадало в обширном безмятежном слое тумана, плоском на многие мили, пока тот не встречался с лесами на другой стороне долины; здесь вдоль опушки – блестящая теплица, там – белые, желтые и коричневые фермы и церкви. Цветом туман напоминал молоко – почти как жидкость, пока не заметишь, как он клубится и зыбится по сторонам долины. Он расстилался на запад и север до самого горизонта, ослепительный под солнцем, преображая всю Шропширскую равнину в эстуарий.

Чувствовалось, что Ущелье – еще не оконченный труд; а Северн – уже контратечение, река под рекой, – кружилась и вихрилась с энергией собственного веса и глубины. Можно только вечно гадать, что явится из тумана, будущее или прошлое. В конце концов, думала Виктория, в счет идут только большие периоды времени, хоть назад ты смотри, хоть вперед, – если, конечно, отличишь где что. Там, внизу, не было деревьев, дорог или зданий. Для них еще слишком рано или слишком поздно. Виктория представила себе тусклый свет, слабо рассеянный по одновременно древним и пугающе новым видам ландшафта, лежащим вразброс без всякого смысла.

Озадаченная такими мыслями – и самой непонятно, откуда они взялись, – Виктория передернулась и пошла в другую сторону; а вскоре наткнулась на официантку, голую по пояс, в одном из прудов в полях к северу от электростанции. «Сюда! – позвала Перл. – Давай! Давай!» Они махали друг другу, пока Виктория не подошла, чтобы наклониться и поболтать пальцами в воде.

– Для меня холодновато, – решила она. – Но какое замечательное утро! Я видела долину, полную тумана, только теперь его разгоняет солнце.

– Твоя мама бы окунулась пулей, – посетовала Перл.

Она побрела на берег: тело гладкое и мускулистое, волосы, недавно крашенные в светлый цвет, зализаны назад и облепили череп. Она напоминала подростка с кодаковской фотографии тридцатых – крепкая, озорная, полная жизни и тайны жизни, которую все уже знают. На миг показалось, что к ее плечам что-то прилипло, словно пленка тонкой ткани, белой от воздуха в ее складках, прозрачной – где касалось кожи; Виктория не поняла, что это – ей мерещилось, что с ней играет шутки небо над Ущельем, хоть оно и было чистым.

– Тебе не холодно? – спросила она.

– С чего это? – А потом: – Не влезь в крапиву!

Пруд был крошечным, неровной формы, десяти-пятнадцати метров в диаметре, слегка потревоженный ветром, который Виктория не чувствовала. Над ним, щелкая и жужжа, высилась вышка ЛЭП. На его середине склонили друг к другу перистые головки камыши обездоленного вида с выбеленными листьями. Старая ива, много лет назад завалившаяся на угол пруда, с тех пор пустила из полузатопленных корней прочные вертикальные побеги. Несмотря на всю свою историю, пруд казался новеньким, словно чистая вода просочилась из недр в одночасье и быстренько наполнила какую-то давнюю впадину. Ему не хватало границ: луга просто соскальзывали под гладь, и на мели было видно, как живут подводной жизнью не хуже, чем на воздухе, россыпи желтых звездообразных цветов. Поодаль стояла проволочная ограда, а за ней – заросли терновника, за которыми из лесов и тумана в Ущелье брызгал в небо свет.

Перл по-хозяйски огляделась.

– Говори о Старом Осси что хочешь, но он еще до четырех лет учил меня плавать в каждом из этих прудов, – похвасталась она. – Это все – мое.

– Какой была моя мать? – спросила Виктория.

– Она любила развлечься.

– Это ты так говоришь. Но я ее такой не помню. Я помню комок нервов. – Когда официантка не ответила, а только улыбнулась, как обычно, Виктория снова макнула руки в пруд и решила: – Ты меня сюда буквально ничем не заманишь.

Она взглянула на кромку воды, на собственное отражение и глубже, на белые пальцы среди погруженных желтых цветов, и не видела причин извиняться за резкость.

– В конце концов затащу, – пообещала Перл. – Потому что я всегда добиваюсь своего.

– Вытираться не собираешься?

В ответ на это Перл остановилась и подняла голову, словно услышала что-то неожиданное среди выцветших серых траверс и стеклянных изоляторов вышки.

– Облезлая махина, – пробормотала она приветливо – возможно, Виктории; возможно, самой вышке, как, бывает, разговаривают с любимым питомцем. Потом отправилась за одеждой, разбросанной между бетонных ног вышки, и качала головой над каждым предметом, подбирая и приговаривая: «И правда не знаю, зачем все это купила» и «Сейчас убила бы за тост с маслом, и чтоб для разнообразия его подали мне».

– Ты же на самом деле не девушка, да? – заставила себя

сказать Виктория.

Перл застенчиво отвернулась на воду.

– Тогда уж не знаю, кто я, – сказала она. – Кто я тогда?

Их вылазки продолжались. Они проехали вдоль границы в Уэльс. Посещали сады замка Поуис и ели мороженое на мосту Дьявола. Куда бы они ни ездили, Перл сидела на переднем сиденье «Фиата», как чья-то бабушка, и описывала все подряд так, будто Виктория ничего не видит. Они читали друг другу таблички. «Аттракцион». «Гровенорская картофельная». «Фроликстрит» – «Улица Забав». Они обедали в гарнизонных городках из романов эпохи Регентства – в Ланголене, Уэлшпуле, Ньютауне, Билт-Уэллсе: места, о которых слышишь, но никогда в них не бываешь, нанесенные на карту в 1812 году и с тех пор забытые. Загипнотизированные полосами косых лучей между деревьев, они как в бреду видели грузовики цветными коробка́ми на вершине холма, ворон с черной мускулистой походкой, плоскую землю под широкими облаками. Почерневшие шпили. Солнечные впадины и пригорки, лай собак в домах, садах и уличных магазинах, таинственную июньскую погоду на склонах холмов, архитектуру дождя и солнца, сюрреалистические тракторные гонки в глуши…

– Смотри! – воскликнула Перл.

Чей-то новенький мотоцикл, не вписавшись в поворот на A458, протаранил ивовую лесополосу на обочине.

В сорока метрах от него, спиной к искореженному металлу, который теперь лежал тикающим, мятым и сворачивающимся в луже собственных жидкостей, стоял мотоциклист и курил взатяг, вперившись в реку внизу. Он в порядке, говорили его друзья, все нормально. Но ему повезло легко отделаться, подчеркивали они. И это было охренеть как тупо с его стороны, и он сам это знал, и в результате никому не хотелось к нему подходить. Они скованно бродили вокруг, поскрипывая в коже, со шлемами под мышкой, будто головами, проявляя терпение, но мечтая уже уехать и наслаждаться остатком дня. Осколки пластмассы с проезда они уже расчистили. Теперь они исследовали мысками сапог оставшиеся после него вмятины в недавно положенном асфальте, то и дело тайком бросая взгляды на собственные мотоциклы – пока что целые, идеальные в разных покрасках, стоящие ярким рядом на придорожной площадке.

– Но вообще спасибо, что остановились, – сказали они.

– Бедняга, – кручинилась потом Перл. – Если не возьму себя в руки, то весь день себе испорчу, думая о нем.

Виктория изучала закопченный желтый потолок какого-то нетронутого реновациями приморского паба, до которого

добрался на апогее «Фиат», и призналась, чтобы подбодрить Перл:

– По-моему, я им в матери гожусь.

Но это не порадовало их обеих, тем более что все равно было неправдой; они отвлекались наблюдением за тем, как отец несет поднос с напитками детям, играющим на солнце снаружи.

– Ты посмотри, – предложила Перл тоном человека, выступающего с возмутительным заявлением. – Рутбир. Нельзя им такое разрешать. Когда ты маленький, то кажется, будто все это интересно, но оно же на вкус как «Джермолин» от прыщей. А сейчас он еще достанет телефон. Видала? Селфач для бывшей, чтобы доказать, что детям веселее с ним, чем с ней.

– Это же просто телефон, чего ты. У людей просто бывают телефоны.

– Неужели? Осси бы даже не знал, что с ним делать. Мало кто из наших знает. – Потом она добавила: – Бедолага, а какой был красивый мотоцикл.

– Что случилось-то? – спросила Виктория.

– Ничего.

– Тебе не скучно?

– Нет, – сказала Перл. – Почему ты думаешь, что что-то случилось? Разве что жизнь.

– А, раз уж *жизнь*, – сказала Виктория. – Тогда давай, пошли.

Они исчерпали возможности комиссионок. Виктория купила тарелки для хлеба в стиле деко, Перл – какую-то старушечью блузку, фиолетовую, с большим бантом. Приложила к себе:

– Это может стать основой моего костюма в стиле Маргарет Тэтчер. Такой должен быть у всех. И это тебе не просто «бантик». Нет. В жизни его так не назову.

В пять часов солнце скрылось, температура упала, а с моря нанесло легкий дождик. Они ели картошку, пока не распогодилось; потом всю дорогу до Шропшира опять светило солнце. Ко времени, когда Виктория подъехала к дому Перл в Ущелье, поездка уже подняла им настроение. Они недолго молча посидели, пока Перл не положила руку на ладонь Виктории и не сказала:

– Не зайдешь на чашку чая?

Дом – последний в террасе, изначально такой же просторный, но, может, не такой же высокий, как у Виктории, – уютно пристроился на северном берегу реки. За ним круто задирался склон с порослевым лесом и старинными поместьями железных магнатов. Глубже остальной террасы, с маленькой унылой стоянкой со свободной стороны – дом казался каким-то квадратным, на отшибе; каждый февраль с 1802 года его

затапливало – что чувствовалось не столько в запахе, сколько в чем-то предшествующем запаху, в чем-то более фундаментальном. Точно так же недавние слои паласа и сырых обоев сохранили хронику умерших домашних животных, табака, еды навынос. В период между войнами здесь был частный отель, потом дом стоял заброшенным, пока при строительстве Телфордского Нового Города его не поделили на однушки для полуквалифицированной рабочей силы. Душный от прошлого, но при этом бесконечно перестраивавшийся, дом стал памятником прерывистому обитанию – лабиринт комнат с низким потолком, где свет плыл от стены до стены медленно, словно ил. Войдешь и постоишь минуту в коридоре – расслышишь телевизоры в дальних комнатах, все – на разных каналах.

Женщины встали бок о бок, вдруг не зная, что делать дальше. Подняв взгляд на лестничную площадку, которую было не разглядеть, Виктория сказала: «Здесь мило». Спросила, есть ли тут туалет.

– Естественно, тут есть туалет, – ответила Перл. – Естественно.

Они уставились друг на друга, потом Перл сказала:

– Дальше по коридору. В наши дни туалет есть почти во всех домах. Я буду наверху.

Коридор – с гипсокартонными стенами и заставленный громоздкими разноразмерными ящиками для инструментов – вел на двор с белеными стенами, где находился старый уличный туалет со ржавой цистерной на крыше. Он выглядел заброшенным. Дорогу обратно Виктория нашла без труда; но затем, хоть и стояла на каждой площадке и звала, не могла ни найти Перл, ни привлечь внимание кого-нибудь еще.

– Эй?

Она вернулась на первый этаж и распахнула первую же попавшуюся дверь. Комната освещалась единственной светодиодной трубчатой лампой на фальшпотолке из покоробленной фанеры. У самой двери спал очень старый лабрадор. Чуть дальше с рассыпающегося тряпичного коврика на нее заворчал зверек поменьше – карманная собачка с беспорядочными клоками шерсти, с одновременно тоскливыми и злобными глазами. Комната провоняла ими, а под вонью чувствовались ацетон, пыль и сладковатый человеческий пот. В самом дальнем от двери углу стояла старомодная больничная койка, в слегка приподнятом положении. На ней лежал огромный мужчина в полосатой хлопковой пижаме.

– Здравствуй, дорогуша, – произнес он. Голос у него был мягким. Ноги – босыми. Он представился Энди и заодно назвал

клички собак, которые Виктория не расслышала. – Ты ко мне?

Словно эти слова донеслись из какой-то давней, более оптимистичной стадии жизни лабрадора, пес вдруг кашлянул и попытался встать, с немалым трудом поднимая голову и изнуренно скребыхая задними лапами. Вторая собачка, как в ответ, стала носиться перед койкой взад-вперед, огрызаясь и повизгивая на Викторию. Когда она это прокомментировала, Энди ответил:

– О, не волнуйся, она дружелюбная, со всеми дружится. Если пойти в магазин, она сидит в сумке.

– Кажется, она сама не знает, чего хочет, – сказала Виктория.

Выглядел Энди так, будто никуда не выходит, хотя койку окружали недавно открытые коробки из-под спортивной обуви. У него было патологическое ожирение, зато ноги – маленькие и аккуратные. И вызывали какое-то ощущение неупотребления, будто ножки ребенка.

– В конце концов я останусь без них, – сказал он бодро, когда увидел, как она на них уставилась.

– Мне пора, – сказала Виктория.

– Ну, моя дверь всегда открыта.

Лабрадор, удвоив усилия, чтобы оторвать переднюю половину тела с пола, обильно описался.

Вскоре она нашла Перл на подоконнике лестничной клетки второго этажа, попивающую пино нуар из «Сейнсбери» и глядящую на Северн, словно весь день чего-то ждала, но так и не дождалась. Похоже, чая не предвиделось. Смеркалось, вода текла маслянисто и целеустремленно; в обоих направлениях дороги микроволновки пабов обслуживали вечерних посетителей из Телфорда. По Уорфаджу спешно прошла женщина в бледно-зеленом вечернем платье, вернулась спустя две минуты, остановилась и уставилась куда-то с гневным выражением на лице; внезапно снова поспешила прочь.

– Они тут все такие, блин, странные, – сказала Перл. А когда услышала о толстяке: – Эти его кроссовки? Он говорит, что когда-нибудь пробежит марафон, а сам не встает с кровати!

– Может, встанет, – предположила Виктория. – Может, однажды он пробежит марафон.

Чем добилась только презрения на ее лице.

– Если хочешь чего-то добиться в жизни, – посоветовала Перл, – не надо быть засранцем. – Она пусто и криво улыбнулась в своем стиле. – А запашок у него? Кетоацидоз, а его любимая книжка – «Рожденный бегать»? А уж остальные местные… – Она пожала плечами.

– В общем, дом мне понравился, – сказала Виктория, хотя на

самом деле не понравился.

– Я надеялась.

Они обменивались бутылкой, пока не допили. После задумчивого молчания Виктория сказала:

– На холм лучше поднимусь пешком. Не на машине.

– Давай-давай, – отозвалась Перл.

Она смотрела на Северн. Потом, явно разговаривая сама с собой:

– Днем такие места выглядят красиво. А потом – просто свалка истории.

Виктория думала попрощаться с Энди, но, когда снова заглянула к нему, обнаружила, что почему-то ошиблась комнатой. Эта была меньше, с задернутыми багровыми бархатными шторами до пола. Вместо ковра на полу лежал древний линолеум с узором под дерево; стены когда-то давным-давно наспех покрыли единственным слоем серовато-белой эмульсионки. На диванах и креслах в темноте сидели мужики, смотрели американский спортивный матч через спутник, пристальные, но бесформенные в свечении пятидесятидюймового экрана.

– Простите, – сказала она. А потом повысила голос, чтобы перекричать комментарии: – Простите, что потревожила.

Двое-трое медленно обернулись к ней всем телом, словно знали, что тут кто-то есть, но не знали кто. Одним из них был кровельщик Стив, и теперь его лицо казалось бледнее, чем когда она каждое утро носила ему чай на верхушку лесов. Внезапно он неопределенно улыбнулся – левый уголок губ уполз вниз, – и начал подниматься с протянутой рукой, что-то ей предлагая.

– Ничего-ничего, – сказала Виктория. – Простите.

Мужиков было так много, разглядела она теперь, что не всем хватило мест. Они пристроились на подлокотниках кресел или расселись на полу, привалившись к стенам. Их было больше, чем готова принять любая комната. Она сомневалась, что ее вообще кто-то заметил. Что за спорт они смотрели, разглядеть было трудно – что-то с припадками движения, которые прерывались обсуждением. Ей показалось, команды больше борются не друг с другом, а со слишком сложными для понимания правилами.

– Как, черт возьми, поживаешь? – сказал кровельщик Стив. Он снова предлагал ей «Детей воды». – Читала? Многие читают.

– Мне не надо, – сказала Виктория громче, чем планировала.

– Сейчас многие читают.

На выходе она столкнулась с отцом Перл.

– Так вы все здесь живете? – услышала она собственный непонимающий голос.

– Ты этих всех не слушай, – тихо окликнула со своего подоконника Перл. – Они ничего не знают.

Малыш Осси остановился на пороге и подмигнул.

– Нашей Перл не угодишь, – сказал он.

9
Лужа слез

Виктория написала Шоу.

> *«Здесь один сплошной исторический памятник. Наверное, я это уже говорила». Стоило войти в лес, как во всех направлениях деловито разбегался десяток тропинок, размеченных табличками по прихоти конкурирующих исторических организаций, – они стремительно сталкивались друг с дружкой, запинались о новенькие турникеты, проваливались в заросший карьер и взбирались с другой стороны. «Здесь везде предлагают свободные посещения. Столько свободных посещений, что не знаешь, куда лучше пойти-то».*

На самом деле ее часто заводило к пруду, где ранее она смотрела, как купается Перл. Теперь она гадала, как заставить себя туда залезть. Сняла сандалии. Потом разделась, снова быстро оделась, как только померещилось, что на соседнем поле кто-то зовет собаку. Она сама себе удивлялась. Казалось, на поверхности что-то плещется и лениво переворачивается; под поверхностью росли невредимые желтые цветы. Они сохранили листья, хрупкий вид и, не считая необычного ареала обитания, выглядели вполне заурядно. По дороге домой она слышала церковный перезвон. День уже приобрел какой-то восковой оттенок, будто после половины седьмого утра его кто-то покрыл очень современной краской.

Дома она перебирала мамины вещи: маленькие картины в рамочках, набитые в картонные коробки под завязку, как старые виниловые пластинки, с мохнатыми от пыли верхними сторонами; пепельница с лошадками; морские раковины в банке. Это – на выброс, это – оставить. Ничего такого, что можно с уверенностью вспомнить по детству или по какому-нибудь дому позже.

Среди репродукций она обнаружила «Оранжевую ладью» 1948 года Гертруды Аберкромби, масло, мазонит, где лестница, примитивное, но антропоморфное дерево и шахматная ладья стояла, шагала и плыла соответственно в воде под облачным небом, залитым лунным светом; и «Колоссы Мемнона, Фивы, Первая», Карл Фридрих Генрих Вернер. Но понравилось ей только каприччо Феликса Келли, где-то сорок пять на сорок пять сантиметров. Уже в раме. Викторианские дымоходы на фоне

самодовольной якобинской архитектуры за спокойным озером; с окружающих слабо освещенных высот кренились деревья. На заднем фоне Уэльс почему-то оказался вплотную к Шропширу. Она протерла стекло, вбила гвоздь в новую штукатурку; отошла назад, чтобы полюбоваться, и, предсказуемо, увидела собственное отражение.

«Ну почему так постоянно получается?» – писала она Шоу. И: «Вряд ли у тебя есть время отвечать из-за требований гиг-экономики и головокружительной суеты столичной жизни. Что ж, а здесь с 1301 года идет дождь». С Поуиса действительно уже неделю приносило дожди: после каждого из желобов закрывающихся магазинов хлестала вода, а освежившиеся галки проводили заседания в невидимом конференц-зале между крышами. Формально лето еще шло, но уже не чувствовалось.

«Не знаю, что и думать о Перл, – призналась она вдруг, словно Шоу сидел с ней в комнате и с ним можно было поговорить. – Я не так уж хорошо здесь обосновалась, как думала. Такое ощущение, будто я еду сразу в противоположных направлениях – прибываю чересчур полноценно, а потом недостаточно».

В два ночи, вдруг проснувшись, она спустилась и открыла ставни.

В часы закрытия разносились все обычные звуки – что-то среднее между смехом и звериными криками, – пока по холму вниз и вверх гуляли подростки, тощие и одетые с иголочки, из бара «Лонг Гэллери» до отеля «Пенистоун», в надежде, что радушно откроется дверь, загорится свет и ночь начнется с чистого листа – или простыни. Вечер за вечером они в итоге сдавались и отправлялись домой. Развязывались все обычные пьяные потасовки, умирая в нервном смехе и в отдалении, а потом возвращаясь.

– Иди на хрен, я убью тебя, нахрен.

Это – почти что лениво, но зато потом с новой энергией:

– *Убью* нахрен. Всех вас, нахрен.

В эти обещания никто не верил – даже Виктория, – а теперь между ее окном и перилами, между перилами и почерневшим окном зеленщика через дорогу хлестал дождь, и она склонила набок голову в темной комнате, чтобы расслышать что-то знакомое, но новое: она была готова на сумасбродство. Улица, хоть и немая, казалась полной людей. Они помалкивали, словно променяли опьянение на что-то еще, что-то лучшее, но, пожалуй, труднее для понимания. Все остальное – лавки, пабы, дома – приобрело хрупкий блеск от света бегущей мигающей луны.

– Ты труп, – вдруг услышала она прямо у окна. Никого было не разглядеть. – Ты труп, нахрен.

Потом – перебивая, откуда-то издалека:

– Войа! Подь сюда!

Да что же это за слово? Если честно, подумала она, уже надоело его слышать. Но на самом деле намного больше надоело не знать, кто там вечно зовет свою девушку так, будто она собачка.

Виктория нашла куртку и какую-то обувь и вышла на улицу. Но та уже снова опустела. Виднелась только одна фигура – склонялась туда-сюда, заглядывала в двери, рассеянно задерживалась или проскальзывала, как будто между воображаемыми пешеходами, пока снова не услышала «Войа!» или, может, «Вира!» – после чего настороженно выпрямилась, склонив голову к плечу, а потом побежала через городок на Вулпит-роуд – милю пенсионерского жилья, круто прорезающуюся через песчаник в сторону реки, где днем пахло пропиткой древесины и автомобильным воском. По ночам в глаза больше бросались не разные бунгало, а темные леса на пригорке над ними. Ветра не было. Шел дождь. Скоро Виктория промокла до нитки. Она все слышала, как голос зовет: «Мойра! Подь сюда!»

Не было ни единого признака хозяина, кроме голоса, иногда – поблизости, иногда – растворяющегося в ночи; тогда как преследователь – замирающий и снова срывающийся с места, мечущийся с одной стороны дороги на другую, с подростковой внешностью, с загадочной комбинацией скованности и гибкости – по-прежнему молчал. То ли мужчина, то ли нет; и на расстоянии он казался одетым во все белое, будто участник ABBA в 1979-м. Так он и спускался, пока не открылся путь на север через лощину Работного Дома – где днем, недалеко от новопроложенных Исторических троп, иногда можно было видеть, как из угольных свит булькал битум, – а потом спотыкался и опасно скользил по глиняным склонам через заросли, известные среди рабочих восемнадцатого века как «Лес самоубийств», к берегам реки Северн.

Там все прекратилось. Голос затих, словно о чем-то задумавшись – о давней простенькой идее насчет устройства мира. Сгустилась тьма. Из подлеска падуба и ежевики склонялись деревья. В полумиле от них, на черных склонах на другом берегу, еще мерцали водянистые огоньки ферм. В это мгновение покоя – минута, не больше двух, – преследующая фигура ничем не удивила Викторию: она в конце концов оказалась всего лишь пацаном, лет шестнадцати, пьяным, с щуплыми руками, светлыми волосами, уложенными чем-то размягчившимся от дождя; глаза –

зеленоватого цвета, когда ненадолго отражали свет. Выглядел он заурядным и заплутавшим. Виктория присела между деревьев. С веток свисали лямки, кожаные ремни и выцветшие на солнце веревки всех видов. Она чувствовала дождь на губах, во рту.

Вдруг голос позвал снова, с другой стороны реки, мягко и лукаво. Мальчишка начал раздеваться.

– Нет, стой, стой, – прошептала Виктория.

Он не услышал. Его тело было таким белым, что почти зеленым. Из-за мерцающего лунного света очертания стали расплывчатыми – мигающая аура анимации на стекле. Такой худой! Он поднялся, быстро сделал пару неловких шагов к реке, обернулся к лесу. Потом соскользнул в воду и молча, но уверенно поплыл по течению в сторону древнего девенского устья Северн, бросив одежду – если это была одежда – темной кучей на берегу, которую было не разглядеть, если не подойти ближе, чем хотелось Виктории. Проблеск движения, словно всплыла рыбка, чтобы поймать муху; потом – ничего, только водная гладь. На противоположном берегу теперь можно было разобрать, как в легкий туман, лежащий на земле, удаляется лихая фигура с руками в карманах, насвистывая и кого-то окликая: «Вира! Вита!»

– Нет! Нет! – услышала собственный ответ Виктория.

Куда бы она на следующий день ни шла, все так же чувствовала мрачные запутанные складки Ущелья, никогда – не дальше чем в миле: невидимый, но узнаваемый провал в лесах и полях. Если парень поплыл к морю, подумала она, то, должно быть, река опять изменила направление: раз этого быть не может, события той ночи стали вспоминаться как сон. «Во сне», – думала она об этом; или: «В моем сне…» В ее сне река как будто текла теперь с севера на запад, в просторный мелководный эстуарий пятидесятикилометровой ширины, впадающий в Ирландское море к югу и востоку от Рексема. Но мальчишка – если это вообще был мальчишка, а не что-то прекрасное, но бесполое, или, возможно, какого-то такого пола, какого Виктории не понять никогда, – запал в память, с лунным светом и дождем, бегущими размытой передержанной смесью на одной стороне его лица, когда он пристально вгляделся в воду, а потом обратно в лес; скорее спецэффект, чем человек.

Меньше чем через неделю в девять утра к ней пришли. Пока она спускалась с верхнего этажа, гость успел три раза позвонить и два раза постучать молотком.

– Мы только что сделали новые снимки, – сказал он.

Виктория понятия не имела, о чем он. Он был ниже ее, но стоял немного ссутулившись, словно дверь для него маловата и

приходится заглядывать под притолоку. Одет он был в желтую рубашку с короткими рукавами и голосом чем-то напоминал Джорджа Фромби. Он спешил. Стоял с таким видом, будто сперва спешил сюда, а теперь уже спешит отсюда. При этом он был напористым. Увидев, что она его не поняла, он повысил голос на пару децибелов и проревел:

– Снимки? Новые снимки?

– Прошу прощения?

– Снимки! – твердил гость, словно они уже встречались, например в каком-нибудь пабе, и все обсудили, и она попросила сообщить, как только снимки будут готовы. – Новая воздушная съемка! Вашего дома?

– А, – сказала Виктория. – Нет, не надо. Правда.

Он стоял на пороге с таким видом, будто она заставляла его заглядывать под притолоку, чтобы увидеть ее хоть краем глаза.

– Вы что, захлопнете дверь у меня перед носом? – прокричал он, когда она начала закрывать дверь у него перед носом, причем обращался словно не к ней, а ко всей улице.

– Если бы я его слушала еще хоть минуту, – рассказывала она потом Перл в кафе, – он бы уже вошел и звал меня милашкой.

Перл это как будто не очень заинтересовало. Казалось, ей вообще неохота разговаривать, словно она плохо знает Викторию и еще не решила, стоит ли та внимания.

– Это младший Томми Джек, – сказала она наконец. – Люди вроде него не такие, как кажется. В детстве Томми всегда жил с ощущением, будто вокруг него разливается что-то хорошее – скажем, что-то типа меда, – но ему этого нельзя. Оно застывало и удерживало его на месте, как клей, но было не для него. И никогда не будет ему принадлежать. Понимаешь, что я хочу сказать? – А потом, словно это как-то связано: – Что мне с собой делать?

В тот день она уложила волосы в высокий белый помпадур – он, вытягивая вверх тонкий перевернутый треугольник ее лица, придавал ей выражение наивного удивления, – а ногти недавно покрасила лаком цвета электрик под названием, как она позже заявила, «Зазеркалье».

– Ярко, – признала Виктория. Потом добавила, что со времен приезда даже ни разу не стригла ногти. – Они почти и не растут.

– Наверное, из-за чего-нибудь в воде.

– Но голубой получился очень яркий, это да.

Перл растопырила пальцы левой руки и подняла ладонью от себя; покачала головой. Виктория стояла и смотрела в окно, пока во влажном теплом воздухе медленно растворялся ацетоновый запах пятновыводителя. В городе был мрачный безлюдный день.

Радио играло скорбные стандарты Брюса Спрингстина, затерявшись где-то между «The River» и «Tunnel of Love». Снаружи, на небольшой стоянке, колыхалось и менялось освещение, тусклое и подводное.

– Так где сегодня Осси?

– Только бог знает или интересуется, – сказала Перл. – Хватит уже с меня на сегодня.

Она подвигала по залу стулья, предложила Виктории тряпку.

– Если протрешь стол – нет, вон тот в углу, – можно закрываться.

Виктория попыталась ее растормошить:

– Вчера ночью я видела еще одного странного типа. У реки. – Тут Перл настороженно вскинула голову и бросила свои дела. Потом сказала:

– У всех своя самоподача. – А потом, выгнувшись дугой и упершись кулаками в копчик: – Хочешь увидеть то, чего еще не видела?

Виктория сказала, что не против.

– Тогда пошли со мной.

За стойкой вверх вела крутая узкая лестница. Как только они поднялись на второй этаж, Виктории стало некомфортно. Комнат было больше, чем она ожидала. Соединял их один коридор. Ни в одной – ничего особенного: приставленные к стене доски или листы запакованного гипсокартона, заляпанные краской. Слои пыли, крошки еды в паутине. Хлопья краски, год за годом осыпающейся с плинтуса.

Перл остановилась в конце коридора и позвала. Никто не ответил.

– Видать, свалил этим утром, – сказала она.

Затем она ходила от двери к двери, заглядывая в каждую комнату. В той, на которой она наконец остановилась, находилось подъемное окно, куда лился мокрый свет и откуда открывался вид на пятнадцатиметровый провал к низким мощеным ступеням Портуэя. Здесь висел какой-то кислый запах, который не опознавался, пока на глаза не попались аквариумы на столе у окна, четыре или пять, наполовину заполненные мутной водой и растительностью, но, похоже, без рыбок. В комнате кто-то давным-давно оборвал обшивку, а потом, почти мгновенно устав от своей затеи, сложил ее у желтеющей штукатурки да так и оставил. Также на столе находились: каминные часы, тяжело тикающие, хотя стрелки не сдвигались; несколько выцветших банок с кормом для рыбок; фотоальбом в коричневом искусственном бархате с искусственной позолотой по краям,

который громко хрустнул, когда Перл его открыла.

– Вот Томми в детстве, – сказала она. – До продажи фотографий он продавал двойные стеклопакеты. И, – перевернув страницу, – вот в таком духе фотографии продавал Осси.

Дети у Северн, на тарзанке над бурой водой; в сухой впадине на берегу, загорают голыми. Сама Перл, заходит в пруд на полях за городом.

– На этой мне десять. Я могла проплыть километр, и уже начали расти сиськи. – У всех тела были под странным углом, бедром к камере – то ли застенчивые, то ли лукавые, предположила Виктория из-за того, что все морщились от солнечного света. – О, застенчивых у нас не водилось. У Томми когда-то был ячмень на глазу – или так он рассказывал.

Потом они вернулись в семидесятые – фотография за фотографией, тусклой и поблекшей, – и увидели мужчин у моря, но без женщин и детей. Дети бы требовали чипсов и картошки; женщины – приятного досуга.

– Это Осси и Стив в отпуске в Моркаме, – постукивая по каждому плоскому бесконечному песчаному простору ногтем, покрашенным лаком: – Тогда они еще были пацанами. Томми. Стив. Толстяк Энди до того, как стал толстяком.

Особенно худым Энди не казался. Было непонятно, зачем они туда приехали – если только это как-то не связано с рыбой или собаками – или что они вообще считали отпуском. Фотографии без женщин: например, бесцветные «полароиды» с улыбающимся мужчиной тридцати лет в очках, в красно-белом шарфе на зимнем галечном пляже. За ним в одинаковых позах фарфоровых собачек на каминной полке друг на друга смотрели два срущих уиппета.

– А это кто?

– Не знаю. В те времена их где только не носило. С кем только не общались. – Перл внезапно захлопнула альбом, но оставила на нем руку, словно хранящиеся там воспоминания все еще двигались внутри; словно они еще о чем-то ей напомнят и она откроет его опять. – Нет, – сказала она наконец. – Застенчивых у нас не водилось. Мы были людьми знающими.

– В это я верю.

– А, веришь, значит? Веришь, значит.

– А разве бывает ячмень прямо на глазу? – спросила Виктория.

– Я пока быстренько в туалет.

Отсутствовала она дольше, чем можно было ожидать. Виктория постучала по стенке ближайшего аквариума; передернулась от какого-то предвкушения, которого не могла

объяснить. Внутри ничто не двигалось. Смыли туалет, потом еще раз. Когда Перл вернулась, от нее пахло старомодным чистящим порошком. Пальцы выглядели воспаленными и красными у ногтей, будто она их отскабливала. Она снова пролистала фотоальбом, раскрыла для Виктории.

– Мы с тобой как две капли воды!

– Но ты даже близко непохожа.

– Значит, так ты думаешь?

Она резко захлопнула альбом и подошла к окну.

– Люди вроде Томми сложнее, чем кажется, – сказала она, пристально глядя вниз, на Портуэй. – Как думаешь, сколько тут метров? До земли?

Впоследствии они виделись реже. Не специально, просто так получалось. У Виктории началась бессонница. Она грешила на жару и по вечерам пила побольше воды; но на самом деле – из-за какого-то непонимания. «Я даже не знаю, *чего* не понимаю, – писала она Шоу. – Все какое-то неконкретное». Когда она все же засыпала, сны ей снились странные.

Один – вот такой:

Она стояла на краю Ущелья, которое скрывалось где-то в тридцати метрах внизу в белом тумане. Из тумана по известняковой тропинке под низкими старыми яблонями показались мужчина и женщина с ламой. Шерсть ламы, грубая, но в то же время сверхъестественно чистая, отливала теплыми оттенками молочного шоколада. На шее был красный ошейник с медным колокольчиком; лама настороженно, но благородно оглядывалась, словно запоминала топографию по каким-то своим причинам. Троица мрачно приблизилась, потом свернула по другой тропинке раньше, чем Виктория успела сказать, как рада их видеть. Они знали, что она там. В событии сквозила формальность церемонии или фольклора: она чувствовала себя зевакой, зрителем, – достаточным сборищем, чтобы наблюдать их воплощение в реальность.

Теперь туман мутировал из моря пара в море воды. В то же время он расширился и растянулся на северо-запад, поблескивая под пастельным солнечным светом и испуская ауру рассвета в чужой стране. По холму поднялся запах соли. Где-то внизу, возможно, лежали рыбацкая гавань, портовый мол, многоэтажные белые домики и две крутые мощеные улицы. Все это не сжимая, но бережно держало в ладони время. Виктория знала, что ей давали понять: она видит будущее. Люди нашли новые образы жизни. А может, учитывая свойства Ущелья, вовсе и не будущее, а только пересечение возможностей, несогласно залегающие слои

времени, мифы из давно забытой или еще не выдуманной географии.

Погода оставалась хорошей, хотя лило все чаще. Прогулки заводили ее все дальше в поля.

На западе, в сторону Уайка и Хангер-Дейла, зеленая просека выходила из лесов на заброшенные дороги – в целом на поверхности, но тут и там уже уходящие под мох и почву, застряв между направлениями, которые никто никогда не выбирал. После этого попадаешь на ослепительные нагорные поля, уже теплые в семь утра, и даже не сразу понимаешь, где очутился; или в деревеньку, где по обочинам растет высокая крапива, склоняясь над дорогой в самых узких местах, а под деревьями оставались втоптанные в землю прошлогодние мюсли дубового плодокорма, кислица и сырая листва. Никому не знакомые места. Днем ее часто можно было найти в саду. Виктория выносила туда душистый горошек, хосту в горшках и чулки, пропахшие ночью. Перекрасила старую серую скамейку из Королевского садоводческого общества современной, но неподходящей пастельной краской. Прибралась, но позволила монбреции и наперстянке перелиться через края нижней лужайки, чтобы в сумерках та еще больше напоминала пруд из сборника сказок эдвардианской эпохи.

Остальное время Виктория приводила в порядок свой красивый дом: сортировала, складывала по коробкам и отвозила на «Фиате» в местный центр переработки все ненужное. Ковры. Сувениры с дешевых средиземноморских курортов. Содержимое садового сарая, содержимое комода, содержимое шкафчика в ванной. Две коробки любовных романов-бестселлеров с обложками, сплагиаченными с фотопримеров для подражания из журнала «Менс Хелс». Нашла фиолетовое дилдо. В свете таких занятий матери та как будто удалилась и стала непредсказуемой – по крайней мере на какое-то время. Обильный макияж и вечера в караоке казались хаотичными и неприличными. Повсюду попадались разбросанные самодельные платья, их фантастические очертания исчерчивались и нарушались черно-белыми полосами под странными углами, не столько по последней моде – и не столько эксцентрично изобретательные, – сколько просто безумные; результат работы подавляемого характера, замеченного слишком поздно, стоящий на рассыпающейся платформе возраста и экзистенциальной паники.

Перед тем как сунуть их в бак на переработку, как белье – в стиралку, Виктория постояла на солнцепеке и задумалась, что ей теперь с собой делать. Она понимала, что переедет, но не знала,

что это повлечет; услышав неподалеку гром, отправилась домой и стояла в саду, ждала дождя. Дождь не пришел, она почувствовала себя покинутой. Позже, обыскивая оставшиеся картонные коробки на предмет того, что уже стала называть уликами, Виктория нашла старые фильмы на VHS, старую музыку на CD; и – беспечно всунутые между мятых и потресканных пластмассовых коробок – два-три конверта распечатанных снимков с цифровой камеры.

В основном местные виды. Доказательства путешествия или прибытия. Фасад дома. Деревья под жарким светом в туристических центрах над Северн. Затопленные во время половодья нижележащие стоянки. Затем, словно человеческий глаз разглядел в пейзаже какую-то черту, на которой не мог сфокусироваться ни один объектив, – две-три безликие лощинки, заросшие разноцветным мхом, дальше по Ущелью, к востоку от городка. А в интерьере – всего одна фотография: ее мать с мужчиной. Сперва Виктория не узнала никого. Просто два человека – выпивают, прислонились друг к другу, обхватив за плечи, поднимают рюмки перед камерой. Он был ниже ее. Лицо не разобрать из-за вспышки; а ее, полное жизни, казалось слегка блестящим и отсутствующим, словно уже после всех удовольствий трех-четырех рюмок водки. Окружение нечеткое, цвета заднего фона передержанные и ближе к оранжевому – хотя Виктория все-таки разглядела барные бутылки и рождественские украшения. Атмосфера бара или ресторана.

В отличие от других снимков, этот был одновременно и со сгибами, и смятый, словно кто-то его сложил, разложил, скомкал, вернулся к нему, разгладил, рассматривал и снова сложил. Теперь его долго разглядывала Виктория. Потом отнесла в кафе, где увидела за стойкой Малыша Осси и положила снимок перед ним.

– Это ты? – спросила она.

Он перевернул его вверх ногами, потом еще раз.

– Хороший, да? – сказал он так, словно они уже когда-то рассматривали его вместе. – Так радуется твоя старая мама. Она умела снимать.

Он ненадолго поднял фотографию на свет, потом вернул.

– Это «Лонг Гэллери», – сказал он так, словно объяснял дорогу. – Ты его видела – напротив рынка на Норт-стрит. Я там частенько сижу, если захочется как-нибудь зайти вечерком.

Виктория смотрела на него. От его пальцев могуче пахло никотином и мылом, от волос – каким-то тоником, которым городские парикмахеры в последний раз пользовались в конце 1974 года. Она забрала фотографию со стойки и вышла. Закрытая от понимания резких перемен в поведении ее матери – сперва

памятью, предлагавшей лишь эту непоследовательность, этих двух разных женщин; а теперь – одиночеством, в котором она будет пребывать, пока в свой черед не состарится и не умрет, – Виктория поймала себя на том, что экспериментирует с новой идеей: «Не надо было сюда приезжать».

На пороге она спросила:

– А где прячется Перл?

Старик достал расческу, ловко и быстро провел по волосам над ушами слева и справа и вернул во внутренний карман раньше, чем можно было понять, что он сделал: натренированная и герметическая ловкость рук, не столько расчесывание, сколько язык из других времен.

– Наша Перл всегда ходит сама по себе, – объявил он наконец. – Одним это кажется добродетелью, другим – нет.

Пошел ты, подумала Виктория.

10
Путь Виктории

Она купила телевизор и заплатила за подключение. Ездила в кино в Бирмингем; возвращалась последним поездом, в котором из окон видно, как далекие огни картографируют человеческий ландшафт: неоновые вывески, прожекторы у складов в глуши, деревенские светофоры, мелькающие во время своего рабочего цикла на пустых перекрестках.

Настроение так и не поднялось. Погода не помогала. Дневная температура падала. Небо тяжелело на юго-западе. Каждую вторую половину дня приносило грозы, с такой строгой закономерностью, словно они – демонстрационные образцы: быстро темнело; мерцала молния; в старые окна колотил град, ложась густым слоем на асфальте перед зеленщиком, где тут же начинали протаивать плетеные ручейки, словно широкие реки при наблюдении со спутника. Через двадцать минут пантомима перебиралась дальше, оставляя собираться слякотной кашей на оранжевой плитке на углу дома промокшие перья галок. Мимо шипели машины, но как-то приглушенно. В доме дождь на время менял акустику, заряжал воздух в комнатах на первом этаже, придавая подушкам и одеялам, хоть они и оставались темными и даже какими-то чумазыми на вид, чистейшее живописное ощущение и жутковатую глубину в стиле книжной обложки издательства «Вираго» образца 1982-го.

Виктория перешла реку и зашла дальше, чем планировала. На вершине какого-то горбатого пригорка, прибившегося к Шропширским холмам, она ссутулилась и нахохлилась от ветра, твердо решившись наслаждаться зрелищными видами на M54 и Чеширскую равнину. Перекусить она с собой не взяла. Позже, когда она прошла полмили по склону под мелким косым дождем, ей показалось, что она видит впереди женщину, спешащую между темными глянцевыми рододендронами в сторону дома на опушке. На ней было платье с цветочным узором и высокие каблуки. Белые перчатки. Когда туда дошла Виктория, женщина уже пропала внутри, если вообще не примерещилась. Серые квадратные стены дома приютили желтый лишайник. Со второго этажа слышался кашель. В промокшем садике находились: одни детские качели, пустой пруд, кострище с обугленными пивными банками и бутылками из-под просекко из «Маркс и Спенсер». В углу под разросшимся падубом валялись гниющие яблоки.

В таком-то месте, думала Виктория, год за годом тихо и дико

совершаются убийства, с такой аккуратной подготовкой, что их никогда не обнаруживают. Вернувшись домой, она назвала их для Шоу преступлениями страсти, совершенными без страсти: мертвые жены, мертвые мужья, мертвые дети; мертвые питомцы.

«И с чего это под падубом лежать яблокам? – спрашивала она его. – Падалица под падубом! Наверное, я вообще не понимаю глубинку».

Она вступила в местное историческое общество, но обнаружила, что его членам интересна не столько история городка, сколько история их сложных территориальных прений с другими местными историческими обществами. Старик с седеющими волосами и зобом пригласил ее в киноклуб. Во все проникала сырость. Ожили грунтовые воды, которые с самых времен изобретения длинных забоев неоднократно прорубались и теперь превратились в лабиринт. У них были свои мотивы, свой опосредованный диалог с верхним миром. Дом взял это на заметку и во второй половине дня забирал обратно некоторые свои предыдущие обещания. Он дышал. Слышалось, как елозят и скрипят его прекрасные половицы. Виктория стояла на лестнице, внимательно прислушиваясь к структурным переменам, потом по ночам лежала и думала обо всем. С трудом верилось, что со времен приезда прошло столько времени. Какое же она чувствовала облегчение, когда вырвалась из Лондона. Это вполне напоминало возвращение домой – собственное старомодное приключение с черно-красной плиткой в прихожей и наперстянкой у задней двери.

Поэтому, поняла теперь Виктория, она и ожидала найти в коробках матери знакомые вещи. Они бы навевали грусть, но проводили бы сквозь время пустяковые, зато обнадеживающие вертикальные связи, напоминая: «Ты унаследовала подбородок отца!» или «А вот и кот Тамбл. Ты уже не помнишь, но в три года ты так его любила!» «Конечно, я ожидала от дома и этого. Но ничего такого не нашла», – писала она Шоу. Например, теперь она могла признаться, что все-таки романтизировала состояние подвала. «Он просто-напросто сырой». Дом 92 по Хай-стрит был таким же, как любой другой, – коллекция метафор и догадок.

«Я на той стадии, когда еще влюблена, но уже не знаешь во что. Реальность начинает брать свое».

И еще: «Здесь много пространства для самосовершенствования, но денег – ноль».

О Перл она вспоминала со смесью нервозности и утомления, толкавшими скидывать на телефон официантки сообщения – «Слушай, ну ты где?» – и так в итоге сложившимися в настроение, которое она объяснить не могла.

Кафе стояло закрытым. С фасада три дня капал дождь. Помятая «Тойота» Осси пропала с парковки. Виктория прижалась лицом к витрине и сложила ладони у лица; потом, мало что увидев, кроме мебели, отступила на дорогу, чтобы избавиться от отражения в верхних окнах: через них тоже ничего было не разглядеть. Она послонялась по окружающим улицам и улочкам, только чтобы с удивлением для себя выйти к крепости Джоффри де Лейси, под чьим огромным полуразрушенным нависающим бушпритом свежий ветер срывал лепестки с клумб у общественных туалетов. На полпути по скользкой и сырой щели Портуэя – откуда ей никак не удавалось узнать заднюю стену кафе, хоть она и знала, что та должна быть где-то встроена в коросту древних зданий, – Виктория вспомнила свой прошлый визит сюда и внимательней смотрела под ноги.

«Ты на меня обиделась? – писала она. – А то я не знаю, за что».

Позже, у Северн, в доме официантки в Уорфадже, она стучала в дверь, пока ее кто-то не открыл через домофон. Коридор после предыдущего прихода Виктория помнила четко, но на этом ориентация в пространстве исчерпывалась. Она встала у основания лестницы и позвала:

– Эй? Перл?

– На самом верху, – направил ее голос.

– Кто это?

– На самом верху, – устало повторил голос, – и налево. Но ты ее не найдешь.

Тихий голос, у которого хватало своих дел, голос, давно привыкший отвечать на похожие запросы. Он мог доноситься из любой комнаты, которые Виктория прошла по пути наверх. Сунувшись в одну наугад, она обнаружила диабетика Энди, которого спросила без преамбулы:

– Где Перл? Ты знаешь, где Перл?

Энди, дремлющий с собаками, ответил гостеприимно, но расплывчато.

– Когда она здесь, слышно плач, – сказал он в конце концов, передавая серией пожиманий плечами и кивков, что они, мол, оба знают, что это значит. – Вечно выплакивает глаза. – Выглядел он плохо. Сегодня даже от его престарелого лабрадора веяло диабетом. – Ее уже день-два нет дома, это я знаю.

Во время разговора Виктория расслышала в помещении наверху шорох шагов, потом – ужасный сумбурный грохот.

– Это что?

– Сегодня закупоривают, – сказал Энди.

Виктория ничего из этого для себя не извлекла, но

упорствовала:

– Но Перл? Кто-то же должен знать, куда она делась!

– Сегодня вечером они будут тут и там, везде. Будут шататься туда-сюда по лестнице. – В тусклом свете у его лица был такой вид, будто его с силой обо что-то колотили – такие синяки и болячки, словно Энди недавно с кем-то подрался и проиграл. Он усмехнулся. В воздухе разлился аромат грушевого монпансье. – Будут есть рыбу с картошкой и все такое. – Подняв обеими распухшими руками собачку поменьше, он побаюкал ее перед собой. – Особенно рыбу, – прибавил он. И рассмеялся от этой мысли. Ранее кто-то пытался убраться у него в комнате. Не считая единственной замызганной пары, все новенькие ботинки для бега вернулись в свои коробки; коробки – сложены в изголовье кровати шаткой стенкой. – Энди сегодня не в лучшей форме, – сказал он собачке, которая только неловко отвернулась от него, обнажив крошечные зубки. А потом – уже Виктории: – Он не поднимается с кровати.

– Спасибо, – сказала она.

На верхней лестничной клетке стоял душный сырой запах, возможно, усугубленный всеми остальными запахами дома, которые ежедневно поднимались с этажа на этаж, пока деваться больше было некуда. Все стены и деревянные панели были выкрашены одинаковой блестящей кремовой краской. Краска покрывала стены. Запах покрывал краску.

– Эй? – позвала Виктория.

Она часто представляла себе, как живет официантка, и теперь обнаружила, что накопила немало правильных элементов – классические альбомы джаза и рокабилли рядом с отреставрированным граммофоном «Дансетт»; плакат, успокаивающий тем, что «ВАМ МОЖНО»; вешалка из «Икеи», погребенная под спецовками и рабочими куртками, – вот только расставляла их в своем воображении пооживленнее. Одноместный диван-кровать был придвинут к стене, старомодное постельное белье – частично полосатое. Подъемное окно, вместе со стеклом, было закрашено той же блестящей кремовой краской, что и стены на площадке. Перед электрическим вентилятором стояла тарелка воды, чтобы повысить влажность и так влажного воздуха. Виктория потыкалась по комнате. Когда окунула в воду кончики пальцев, они стали солеными и теплыми. На туалетном столике, где она ожидала встретить коллекцию иронических болванок для париков и бэушных шарфов на голову с узлом на лбу, пыльных от ретро-пудры для лица из сороковых, нашелся только ноутбук «Делл» – включенный, но в спящем режиме. Надави пробел, обнаружила она, и на экране оживет сайт под

названием «Дом воды» – красный шрифт десятого кегля на черном фоне, разреженный только пробелами между абзацами в две строчки и короткими серыми клипами, чье содержание было трудно разобрать. Виктория наклонилась и прочитала:

> «В конце 1950-х, особенно во время прилива, можно было видеть, как некие фигуры покидают реку Брент и ее окрестности – лодочные верфи у слияния с Темзой, за Уорнклиффским виадуком и зоопарком в стороне A40 и Гринфорда».

А затем, если прокрутить вниз и остановить в случайном месте:

> «На тему PDE10A и акватической теории эти тетради предлагают только нижеследующий фрагмент с ныне не поддающимся расшифровке контекстом: „В [неразборчиво], известных ранним экспедициям как ***„морской орган“***, или ***„двигатель осознания“*** – а также в системе каналов под Храмом надписей, – были обнаружены здания, ***системы зеркал***, „коллекторы лунного света“ и ***аккумулятор*** того же типа, что находили на множестве периферийных раскопок в пещерных комплексах Юкатана. В случаях, где изображено [неразборчиво], – [неразборчиво]. Похоже, нам только остается согласиться, что мы видим основные признаки позднего горизонтального переноса в человеческом геноме – адаптивной интрогрессии, произошедшей всего одиннадцать тысяч лет назад“».

Сам сайт и видеозаписи на нем, напоминавшие порнографию из культуры с плавающим значением термина «секс»; блюдце у вентилятора; брошенное в углу нижнее белье, верхняя одежда по всему ковру, каждый предмет – с такими запутанными рукавами или штанинами, что создавалось впечатление, будто стоит отвернуться, как они разделяются и воссоединяются в какой-то жидкой среде, – все это казалось частями единого целого. У Виктории не получалось представить здесь официантку. Какое-то время она недоуменно озиралась, потом спустилась по лестнице, чтобы забрести в мрачные дали дома, крича: «Перл? Эй?», пока снова не наткнулась на комнату Энди.

Теперь здесь не было ни Энди, ни его собак: только мужчины, среди которых она узнала многих мастеров, чинивших ее дом, – сантехника, плотника, кровельщика Стива, так хвалившего ее ловкость и равновесие, когда она приносила ему чай с имбирным

бисквитом по утрам. Занятые и запыхавшиеся, они как будто ее не узнали. Они топотали в рабочих башмаках по периметру комнаты, сперва в одну сторону, потом – обратно; затем, взявшись за руки, внезапно метнулись в середину, крепко сбились вместе, обхватили друг друга за плечи, одновременно закидывая головы назад от усилия вырваться от этой близости. Это какой-то танец, предположила Виктория. И гадала, не скрывается ли в глубине молчаливой злобной возни в середине комнаты еще один участник – кто-то повыше – возможно, на коленях, согнувшийся в талии и потому невидимый. Но как бы он туда попал, чтобы она при этом не заметила?

Музыка не играла, хотя голый пол, прогибаясь под весом, иногда издавал гулкий, почти колокольный звук. Койку задвинули в угол, навалив на нее обувные коробки. Она заметила, что плинтус у двери был недавно опален небольшим пожаром, а запах собак в неподвижном воздухе перекрывался слабым ароматом близлежащей реки. Кто-то достал цветочный горшок, они им недолго перебрасывались, пока тот не выскользнул из рук и не разбился в пустом камине; разлетелся черный компост. Огромный телевизор на камине показывал соревнования по женской гимнастике из 1970-х – на бревне очаровывала мир Ольга Корбут, «Воробей из Минска», ее деликатные руки открывали целую эпоху позитивных и эльфийских жестов.

Между тем Виктория, не столько напуганная, сколько измотанная усилиями придать смысл тому, что она видит, попятилась из комнаты.

– Прошу прощения, – сказала она. – Кто-нибудь знает, что случилось с Перл?

Они прекратили танец и уставились на нее; и, пока Виктория шла ко входной двери, молча собрались, толкаясь, на лестнице над ней.

– Она снова ушла, – сказал один из них. – Этой девочке ничем не угодишь.

– Нашей девочке Перл, – сказал кто-то еще выше под общий смех.

– Да твою мать, – сказала Виктория и предоставила их своим делам.

Она поднялась обратно на холм и, вернувшись домой, включила телевизор. На экране премьер-министр, с приоткрытым ртом и больным видом, повторил что-то три раза; снова выключила. Потом достала фотографию матери и Осси в «Лонг Гэллери» и провела пальцем, словно пером граммофона «Дансетт», по сложным складкам и сгибам, словно могла ее в

каком-то смысле проиграть, как пластинку. Как узнать положение дел, если не знаешь заранее, где искать? Как узнать, в каком контексте находится нужное знание? Она пыталась силой мысли проникнуть в полыхающе-рыжие оттенки снимка, в воспоминания о караоке и дешевых гирляндах пропавшего Рождества, как вдруг услышала голоса у дома по соседству.

Решила сходить и посмотреть, на случай если это Перл.

В воздухе чувствовались свежесть и ясность другого времени года. Закат окрасил макрелевое небо над лавкой зеленщика. Источником шума оказались мужчина и женщина, которые, не получив ответа у дома 91, уже направлялись через калитку Виктории к следующей цели.

– Как мы рады, что вас застали, – сказала женщина. Она смеялась. Ее зовут Бренда, сказала она. Она была нервной, лет тридцати, опрятной и презентабельной в стиле «Маркс и Спенсер». Голубые глаза. А мужчина был Томми Джеком.

Увидев Томми, Виктория сразу недвусмысленно дала им понять, что ей неинтересно.

– Отвалите, – сказала она.

– Просто мы сегодня обходим людей, – сказала ей Бренда, – чтобы поделиться вот этим. – Она вложила в руки Виктории «Детей воды» в мягкой обложке.

Виктория вернула ее.

– Ты что, дурак? – спросила она Томми Джека. – Что все это значит?

– Мы иногда знаем то, чего вроде бы не знаем, – заметила Бренда. – Ты так не думаешь? Я так думаю.

– Ну прекрасно, – сказала Виктория и начала закрывать дверь.

– Они – прошлое, ты же понимаешь, – сказал Томми Джек, нервно подаваясь вперед. Было видно, как он ненавидит и боится закрывающейся двери; как она его ранит. Уж лучше бы дверь и не открывалась вовсе. – Теперь мы – будущее. Теперь у всех будет шанс.

– Кто «прошлое»? – спросила Виктория. – Вы о чем?

Захлопнула дверь и крикнула из-за нее:

– Вы сами-то себя слышите? Это просто какая-то идиотская религия!

– Тебя и дальше будут посещать видения, – сообщил с другой стороны Томми.

Это взбесило Викторию, которая дрожала в прихожей, смотрела на черно-красную плитку и пыталась вспомнить, чем занималась до их прихода. Прочистила горло.

– Мне это неинтересно, – сказала она больше себе, чем Томми

Джеку; ответ не казался ни адекватным, ни в любом случае истинным. Она снова открыла дверь, дождалась, когда они отойдут подальше на главную улицу и повернут у цветочного магазина в верхнем конце Коксолл-лейн, потом окликнула:

– Какие видения? Какие еще сраные видения?

Они остановились на углу и на секунду оглянулись, с лицами белыми и искривленными нервозностью, будто испугались, что она погонится за ними через весь город. Томми Джек сделал одной рукой странный успокаивающий жест.

– *Что еще за сраные видения?* – снова крикнула Виктория.

А сама вспоминала, как во сне лама благородно и терпеливо поднималась по тропе из моря тумана в Ущелье.

Она вернулась к себе и лихорадочно переставила мебель в гостиной. «Сволочь», – сказала она, хотя сама не знала кому. Потом передержала на сковородке рыбные палочки и ела их вилкой вместе с жареной картошкой; съела малиновый «Дуал» из холодильника. Пыталась читать «Комнату Джейкоба», но добралась только с шестнадцатой страницы до семнадцатой, после чего заснула глубоким сном на диване. Проснулась намного позже, в сером свечении «Айфона», хотя было очевидно, что никто не звонил. Ей нравилось видеть свои книги на полках в нишах рядом со старым камином; ей нравились валлийские одеяла и парча, наброшенная на мебель, чтобы замаскировать, что мебель принадлежала ее матери. Ставни все еще стояли открытыми, было темно. Почти снова заснув, она услышала, как спокойный голос где-то рядом на улице – будто кто-то сидел под самым окном с тех самых пор, как она въехала в дом, сидел без движения, прижимаясь к холодному георгианскому кирпичу, чтобы его никто не видел, – произносит слова:

– Вита? Вита?

Сдвинуться с места невозможно, обнаружила она, – ни от окна, ни к нему.

– Подь сюда, Вита, – уговаривал голос.

Виктория лежала как можно неподвижней, пока не услышала, как оно уходит по улице. Тогда она влезла в куртку и выбежала следом, в поля за домами, где останавливалась и пряталась каждый раз, когда слышала зов. Ночь была ясной. Луна проливала на пейзаж мягкий пиксельный свет, отбрасывая черные корявые резкие тени, подчеркивая и преувеличивая каждый изгиб; вышки ЛЭП, потрескивающие и шипящие, словно бы изгибались над Викторией, как на линотипной иллюстрации. В этом далеком краю голос ее покинул. Она стала озираться.

И вдруг теперь звала уже сама Виктория – «Ау! Ау!» – но без

ответа.

Потом ее притянули к себе большие темные порослевые леса, высаженные для добычи древесного угля: Боле, Суини и Листнау; Заводской, Работного Дома и Самоубийц. В этих старых лесах, накрывших бардак от восемнадцатого века, было теплее, чем на обнаженном откосе; лабиринтовая топография тропинок и пригорков, рассыпающиеся известняковые печи и терриконы глинистого железняка молча и мрачно тянулись до края Ущелья, на склоне которого каждую зиму выкорчевывался из грязи очередной вяз и устало кренился в объятья ближайшего соседа. Путь Виктории – если его можно так назвать – по пересеченной местности, от ручья к ручью, состоял сперва из короткого преодоления крутого холма, после чего неизбежно шло усталое осторожное соскальзывание с другой стороны. Ее руки месили воздух. Она заблудилась. Ей казалось, она не совсем владеет собой. Мимо, откуда ни возьмись, пронеслись восемь оленей – по узкому перешейку между двух заросших каменных карьеров. Она могла только наблюдать, как они мерцают между деревьями куда-то по своим делам, бледные в лунном свете. Зачарованная, но все же испуганная – жительница Лондона в луже слякоти, – она брела почти всю ночь, пока зловещий полусвет в предрассветный час не вывел ее снова на опушку; там она огляделась.

У лугов за лесом был побледневший и высушенный на ветру вид начала марта, словно между деревьями Виктория сбросила несколько месяцев жизни; воздух разносил запах, который она могла узнать, но не назвать, а сам двигался по небу, словно холодная серая жидкость. В тридцати метрах с поля на поле пробрасывались электрические провода. У ближайшей вышки ЛЭП заговорщицки бликовала вода – знакомый пруд официантки с сопутствующими поваленной ивой и затонувшими цветами. Виктория, с облегчением от того, что так точно определила свое местоположение после целой ночи неразберихи, выбежала из леса так, словно повстречала человека, а не географический ориентир; затем развернулась и бросилась обратно, когда увидела, что по длинной лощине от города кто-то приближается. Эта фигура медленно прояснялась и стала сперва женщиной, а потом – самой официанткой, с тенью длинной, с походкой совершенно сексуальной, расслабленной и все же оптимистичной.

– Перл, – сказала Виктория, но так, чтобы ее не услышали.

Ей было стыдно. Она была в ужасном виде. Если сейчас выйти на свет, трудно будет не признаться, что она всю ночь плутала в лесу, по лодыжки в грязи, сорокалетняя, в походных ботинках матери. С Перл она всегда робела; но сейчас в мокрой траве у куста терновника она присела из-за какой-то более

глубокой сдержанности – врожденной, не зависящей от обстоятельств. Официантка тем временем подошла к пруду и с расслабленной улыбкой – обращенной, возможно, к воде, – разделась. Аккуратно сложила одежду. С тех пор, как Виктория видела ее в последний раз, она похудела. Кожа побледнела, у живота был идеальный позднесредневековый изгиб. Перл что-то прошептала вышке, по-хозяйски провела пальцами по мшистым ветвям старой ивы. Затем ступила в воду, снова улыбнулась всему вокруг и уверенно побрела на середину, с каждым шагом мало-помалу исчезая, словно спускаясь по короткой невидимой лестнице.

Без шума и пыли. Спустя тридцать секунд о том, что она вообще здесь была, говорили лишь разбегающиеся круги.

Виктория вперилась в пруд.

– Перл! – воскликнула она и на заплетающихся ногах бросилась за ней.

Пруд был до ломоты холодным, но нигде и не глубже полуметра. Вода не поднималась выше коленей. Она наклонилась и поболтала у дна руками.

– Перл!

Официантки – метр семьдесят без туфель – там не было. Там вообще ничего не было. Ничего, куда можно пропасть. Виктория в панике побрела обратно; упала. С дрожью вытянула себя на траву, изумленно уставилась обратно на взбаламученную гладь с колыхающимися под ней желтыми цветочками. «На что я смотрю?» – думала она. Потом: если здесь кто-то утонет, то кто узнает? В смысле, кто ее найдет, под водой среди цветов? Холодную, белую, сохраненную навеки. Рябь все еще нежно билась о края пруда: вода на середине ненадолго показалась гостеприимной, словно потревоженный ил выпустил накопленное за год-другой тепло.

– Перл! Перл! – позвала она.

А из леса поблизости ответил мягкий коварный голос:

– Подь, Вита! Подь сюда! Подь сюда, Вита!

Солнце уже вышло целиком, вытягивая все до предела, не объясняя ничего. Там, где лучи касались верхушки мачты, как будто звенели стеклянные изоляторы. Виктория разворошила мыском стопку одежды у воды. Вернулась домой и отперла дверь. Аккуратно поднялась наверх и стояла под горячим душем, глядя прямо перед собой на квадратный кафель. Съела два цельнозерновых тоста. Потом собрала сумку, положила на заднее сиденье «Фиата» и поехала в Лондон на умеренной, но неудержимой скорости.

Ей требовалось знакомое лицо, а раз единственным, чье лицо

она могла бы назвать знакомым, был Шоу, она остановилась позвонить ему с пустой парковки. Но услышала только плохую связь. Тем не менее она сидела там, набирая вновь и вновь, пока «Фиат» трясло в воздушном потоке грохочущего мимо высокобортного трафика. Тем утром как будто все разом ушли в логистику: доставляли будущее сегодня. У Виктории было только слабое представление, где ее будущее, хотя, очевидно, не на обочине какого-то двухрядного шоссе в готических краях едва знакомого графства. Дорожные знаки предлагали ей Ситчемптон, Омберсли и Норчард-Поул. Она видела кучевые облака; ястреба, холм, а у его подножия – железную дорогу.

Потом, кажется, была долгая поездка. Шоу оставался неуловимым – воспоминание, в котором нельзя быть уверенной до конца. В семь вечера, припарковавшись в неположенном месте на Шефердс-Буш-роуд, на северном въезде в Брук-Грин, она попробовала дозвониться на домашний. Было затишье между часом пик и вечерней суетой. В широком небе над Темзой, видела она, задержалась примесь жидкого золотого и серебряного света: того гляди вымокнешь в них до нитки, окажись ты в тех местах. Там между речными пабами ходят выпивохи с оголенными руками в выхлопных парах, которые плывут с A40 и приправляют еду и вино. На миг привороженные шириной реки, люди мешкают, чтобы бросить взгляд в восторге (но, может, и с недоумением при виде зыбкости, мимолетной редкости такого зрелища) над поблескивающим приливом, на школы и теннисные корты на другой стороне.

– Алло? – громко сказал Шоу. – Алло?

Прочистил горло. Казалось, его удивляет, что ему кто-то звонит. Казалось, он ни с кем не говорил целый день, а то и дольше.

– О, привет, – сказала Виктория. – Думаю, ты меня помнишь.

Три

11
Перемены

Из детства Шоу мог восстановить только рассеянные, но очень конкретные образы. Замерзшая лужа. Мешок с песком. Штабель оконных рам у недостроенного коттеджа где-то рядом с морем. В четыре года ему были интересны подобные предметы из-за какого-нибудь их сущностного свойства – например, прозрачности или желто-коричневого цвета; или если их передвигали с тех пор, как он видел их в последний раз. Он смотрел не столько для себя, сколько из себя.

Его сверстники в яслях, напротив, были готовы к действию. Уже рвались что-то делать. Их целью была воля. Но если, к примеру, им конец каждого дня давал шанс самостоятельно застегнуть пальто, Шоу просил мать застегнуть за него, чтобы не вырываться из гипноза, в который его погружали сияние и цвет чьих-нибудь пуговиц. Позже из-за этого он придет к метаморфической теории личного развития. В десять-одиннадцать лет, глядя, как его сверстники берут судьбу в свои руки, он легко мог представить, как сам станет взрослым: но скорее не как автор перемен в себе, а как организм, что, достигнув переходного уровня, – которого он еще по определению не мог знать, – автоматически переключится в какое-то совершенно новое состояние. Будучи уже тогда ненасытным читателем, Шоу по-прежнему в семи случаях из десяти рассказывал алфавит с ошибками.

«Продолжай в том же духе – и никогда не сживешься ни с собой, ни с миром, – не раз предупреждала его мать. – Вечно будешь заново изобретать колесо». И потом – словно в сторону, кому-то третьему: «И боже мой, как же это будет утомительно что для тебя, что для любого, кто будет с тобой общаться».

В отместку за такие характеристики Шоу быстренько научился пролистывать свой опыт, в подростковом возрасте поддерживал со своими проблемами только косвенные отношения. Тут немало помогала неустойчивость внимания: если месяц-другой ему нравились мотоциклы, то к Рождеству – уже лошади. С девушками он не встречался. Друзей не заводил. Окончив университет, обнаружил, что может избегать большинства событий и встреч, проблематичных и не очень, просто занося их в категорию «схематичных и непостижимых», даже если они происходили. А когда он все-таки осмыслял то, что с ним происходит, то процесс осмысления происходил где-то в

другом месте – где-то глубже, если у Шоу вообще была глубина: внимание поверхности – да и всей его личности – всегда словно было приковано к чему-то другому.

Ко времени его первой встречи с медиумом миссис Суонн – где-то через месяц после отъезда Виктории Найман из Лондона, – этот триумф отрешенности затвердел и стал образом жизни. Он же станет единственной основой, от которой Шоу отталкивался для понимания их дальнейших отношений.

Добираться к коттеджу госпожи Суонн в Ист-Шине надо было пешком, от Мортлейк-Хай-стрит, мимо церкви Святой Марии Магдалены, через Норт-Уорпл, по пешеходному мостику над железной дорогой, затем через кладбище, где он впервые встретил Тима. Из-за дождя, хлещущего с чизикского берега, пришлось поднять воротник. Дождь отполировал старинные тонкие надгробия, кружил в северо-восточном углу кладбища, где у стены бывшей инфекционной Барнсской больницы сгрудилось несколько деревьев. Его джинсы промокли. Ветер опустошил мусорный бак, размазав по раскисшей земле неровный слой оберток от сэндвичей и фруктовых корок; коттеджи с крохотными палисадниками, засаженными тощей лавандой и засыпанными мокрыми лепестками роз, словно стояли необитаемыми.

Миссис Суонн, которая открыла дверь, пока он еще стучал, оказалась совершенно не той, кого можно было ожидать из-за имени, – моложе Шоу, красивая какой-то изнуренной красотой, с большими, хоть и невыразительными глазами. На секунду-другую ему померещилось, будто ее испугало что-то у него за плечом. Он рассудил, что она стала настороженной после тридцати лет сюрпризов. В то же время они – внезапные, односекундные, но накапливающиеся, предсказуемые по форме, но никогда – по содержанию, – наделили ее прочностью, такой уравновешенностью, которой недоставало людям вроде него. Ее лицо о ком-то напоминало, но он не мог вспомнить о ком. Не получалось опознать и ее акцент. Она была выше его. Носила хлопковое платье с цветочным узором и «конверсы», только что из коробки. Этого стиля, популярного лет пять назад среди молодых замужних женщин Западного Лондона, она придерживалась все время их знакомства, даже когда лето кончилось.

Пусть войдет, сказала она. И он может звать ее Энни. Но прежде чем они начнут, она хочет кое о чем предупредить:

– Я этим занимаюсь только потому, что мне надо кормить семью.

Шоу ожидал продолжения, но спустя миг она пожимала плечами, словно он упустил какую-то возможность социальной

интеракции, причем бесповоротно, и усадила его на дешевом кожаном диване в гостиной.

– Энни, – сказал он. – Интересное имя, потому что…

– Смотри перед собой, в стену, – руководила она.

Села рядом и взяла обе его руки. Ее ладони были теплыми.

– Нет, – сказала она, – смотри не на меня. Смотри в стену.

Шоу посмотрел на стену. Бледный прямоугольник обоев над каминной полкой был бледнее, будто там когда-то висела большая картина или плакат. Потом миссис Суонн отклонилась от него, неожиданно у нее перехватило дыхание, и она завалилась под странным углом, все еще сидя, все еще не выпуская его рук. Следующие пять минут она шептала и тряслась. Шоу, забывший включить телефон для записи, обнаружил, что не может высвободиться. Хватка была нешуточной. После каждого предложения она словно недолго боролась с чем-то внутри себя. Ее платье задралось. Не зная свою роль в этой пантомиме, Шоу сидел в мокрой одежде и таращился в стену. Ничего не произошло, хотя раз или два он настолько сосредоточился, что померещилось, будто комната вокруг поднимается и вращается. Внезапно все заполнил речной аромат, пригнанный порывами ветра и дождя от Мортлейк через железнодорожную ветку, потом развеялся. Через десять минут миссис Суонн захрапела; ее хватка ослабла. Немного погодя она очнулась и улыбнулась.

– Надеюсь, ты получил, что хотел, – сказала она. – Иногда люди получают, что хотят, иногда – нет.

– Я что, должен был что-то увидеть на стене?

Она рассмеялась.

– Мне-то откуда знать?

Посмотрела на себя.

– О боже, – сказала она буднично. – Так иногда бывает. Но мужчины вряд ли возражают.

Она предложила ему чашку чая. И сперва все делала нерешительно, потом – со внезапной потрясенной улыбкой, словно вспомнила, как наливать чайник или выдвигать ящик и искать внутри ложечку. Минуту-другую Шоу наблюдал за ней, потом сел на диван – спокойный вопреки себе, – и оглядел толстые сизые ковры и сосновую мебель, огромные разукрашенные кру́жки от королевской службы «Английское наследие» с выдрами и зимородками.

– Я вижу, что у тебя есть слабые места, – окликнула она с кухни. А потом, снова садясь рядом: – Это очень сложная работа. К медиуму не приходят без проблемы – но часто люди сами не знают, в чем она заключается. Медиум же, в свою очередь, не знает, что она транслирует. В самый критичный момент она

отсутствует. Она лишь проводник. – Миссис Суонн улыбнулась. – Ты удивишься, как много можно исправить, просто изменив привычки. – В связи с этим она вручила несколько листовок – большинство с виду рекомендовали сменить мясной рацион на рыбный, – а также телефонный номер на случай, если появятся дополнительные вопросы.

– Некоторые замечают, что на первых порах их тревоги даже усиливаются, – сказала она. – Это пройдет. Но если тебя что-нибудь будет беспокоить, просто звони, проведем дополнительную консультацию.

– Я и не ожидал, что все будет так, – сказал Шоу.

– Ты ожидал совета, ты ожидал понимания. Возможно, ожидал гласа с астральной плоскости. Ну, у кого-то бывает и так. Но ты обнаружил заурядную женщину с двумя детьми. – Она ободряюще коснулась его руки. – Каждый находит что-то свое, – сказала она и добавила в дверях, когда он уходил: – Еще одно. Ухаживай за матерью. – Это медиум сопроводила сложным взглядом, легкомысленным и извиняющимся, но в то же время прямым и почему-то насквозь ироничным. – В конце концов, она за тобой ухаживала.

– Пожалуй, тут ты права, – ответил Шоу как можно бесстрастнее, хотя сам в этом сомневался. Да и что она знает о его матери? Позже он заметил Тиму:

– Я бы сказал – это странный совет.

Тима это не заинтересовало.

– Энни – моя сестра, – сказал он. – Но мы больше не общаемся.

– А, значит, ты Тим Суонн. Что-то ты непохож на лебедя. – А когда Тим только уставился в ответ: – Это я так пытался пошутить. – И потом Шоу добавил: – Наверное, ей так положено, всем говорить что-нибудь в этом роде.

В среду Шоу проснулся в два ночи с ощущением, что ему звонят на домашний. Сняв трубку, вместо голоса или гудков он услышал какое-то электронное молчание, очень чистое, искусственное и ожидающее.

– Алло? – сказал он. И еще сказал: – Виктория? Это ты?

Но нет.

Какое-то время Виктория Найман почти каждую ночь оставляла ему голосовое сообщение – они копились, чтобы разом обнаружиться на следующее утро, краткие моментограммы, рассказывающие о ее дне, о ее красивом старом доме, о процессе реновации. Там не жизнь, а сплошное приключение, сказала она. «Можно сидеть на площадке первого этажа, читать на солнце

детскую книжку твоей матери, и, как только задумаешься, почему волшебства не бывает в *твоей* жизни, плотник говорит, что у тебя завелся древоточец». После поездки в магазин «B&Q» в Телфорде она назвала полки с инструментами «мужскими гирляндами, коллекционными предметами для мужиков». Типичная Виктория: самоуничижительная и оптимистичная – пожалуй, нарочито хрупкая. «Надо сказать, я тут встретила довольно странных людей».

Шоу никогда ей не отвечал, потому что не хотел поощрять у нее привычку ему писать; но все-таки сообщения часто его улыбали.

– Виктория?

Внезапно вернулись гудки, и он положил трубку. В доме 17 по Уорф-Террас было для разнообразия тихо. Подъездные сквозняки заносили под дверь с первого этажа слабые ароматы чьего-то ужина навынос – сырой тунец с липкими ферментированными соевыми бобами из «Тосы» в Рэйвенскорт-парке. Он смотрел через улицу – туда, где между крыш проглядывало северное сияние в стиле летнего Лондона: рыжее, неподвижное и в то же время какое-то завивающееся; затем через две-три минуты – словно человек, который снял с конфорки кастрюлю и ждал, пока она остудится, – снова взял трубку и набрал тот номер, что дала после сеанса Энни Суонн.

– Иногда, – сказал он, – у меня такое ощущение, будто я никогда не знал, кто я такой.

Проснувшись следующим утром, он чувствовал себя поспокойнее. В чем-то ему полегчало. Это ощущение длилось до середины утра, после чего возвращалось на краткие интервалы.

Вместо того чтобы работать, он продолжал знакомство с рабочим местом.

Под окном, выходящим на берег, нашлись кожаный башмак и чайная ложечка, измазанная, видимо, засохшим йогуртом. В конце ящиков стола он раскопал бечевку для посылок, склеившийся от возраста скотч дымчатого бромового цвета викторианского медицинского флакона; половинку нестираемого карандаша. Из-за картотеки вытащил несколько страниц «Брент Эдвертайзер» от июня 1984-го, аккуратно сложенных на статье о человеке, который за шесть лет до публикации подстроил свою смерть – в один миг свел себя до аккуратно составленной записки и стопки одежды на бечевнике, в миле к северу от лодочных верфей на стечении рек. За прошедший период, напоминал «Эдвертайзер» своим читателям, этого человека время от времени видели у реки – часто голого и испуганного, – беззвучно шевелящего губами, словно из-за стекла: такие показания

очевидцев было легко не принимать всерьез. Теперь же он появился снова, разбитый горем, но не в силах объясниться. Все это время он проживал с женой, учительницей химии, в Эктоне. «Гарри пытался сбежать из собственной жизни, – объяснила она. – Так не бывает. Я ему говорила, что ничего не получится. Думаю, мы оба хотели чего-то нового». Сопутствующая фотография, подозревал Шоу, с тех времен, когда ее сняли, поблекла и стала одноцветной.

Он сунул «Эдвертайзер» обратно за картотеку; прочие предметы аккуратно вернул по своим местам (хотя башмак и ложку из-за отвращения выкинул в реку). У него не возникло такого ощущения, что все эти вещи принадлежали кому-то конкретно – или к какому-нибудь образу жизни. Они не придавали контекст настоящему лихтера и не объясняли его отдельно стоящего прошлого.

Позже, пока Шоу мочился с конца заброшенной баржи, из целого ряда выше по реке, невидимый посреди высокого бурьяна и кустов бессильного вида, которые разрослись на каждом квадратном футе гниющей палубы, ему показалось, что он услышал что-то за спиной. Два-три нерешительных движения дальше по палубе, после чего последовали трепет или шорох у самого края его поля зрения; потом – тихий всплеск, словно кто-то скрытно соскользнул в реку. Шоу ждал ряби, но так и не дождался. Наклонился и огляделся вдоль борта. Ничего. Занервничав, застегнул ширинку и пробился через растительность обратно на сушу. Там среди новых побегов и зачахшей листвы все казалось высохшим и в то же время прогнившим до основания. Из поблекших банок из-под лагера и рваных целлофановых пакетов всплыла мелкая мошкара кремового цвета. Старую палубу уже сменила волокнистая мульча, но все еще чувствовалось, как под ногой прогибаются ветшающие доски.

Выбравшись на берег, он оглянулся. В этих теплых, дремучих, безвоздушных, озадачивающих зарослях может обитать что угодно, подумал он. Но поверхность реки оставалась гладкой и отполированной до самого моста Кью, где пирсы дробили ее на барашки и завихрения, уносившиеся потом в сторону Барнса. Было то лондонское утро, когда пасмурное небо равномерно распределяет освещение по всему небу. Солнце так и не проглянет, зато весь день чувствуешь, как оно обволакивает, пока от него не устают глаза, и тогда находишь прибежище в каком-нибудь баре. Непогода прошлой недели превратилась в духоту и сырость, но все еще каким-то образом неотъемлемо сохранялась в тусклом латунном свечении, что легло на город. Все снова

покрылось пылью, но небо могло разверзнуться в любой момент. Это самое худшее время июля – предвкушение августа, когда по всей реке от Сент-Маргаретс до Патни вяло свисают из муниципальных корзин красные пеларгонии, а ты все ждешь, когда же, наконец, раздождится, а то с тем же успехом мог бы переехать в Испанию.

На этот обед Шоу для разнообразия прошелся вниз по течению до Стрэнд-он-зе-Грина и съел гамбургер, сидя перед пабом «Сити Бардж», пока между ним и рекой дрессировали миниатюрных собачек женщины средних лет в штанах для йоги «Ликвидо» и «Спиричуэл Гангстер». Шоу казалось, что он сыт по горло этой стороной жизни. Начался отлив. Вода обмякла и забурлила. Остров Оливер на середине русла напоминал викторианский дредноут, брошенный в дрожащем свете, чьи тяжелые железные плиты каким-то чудом окаменели. А вот мне даже не придется подстраивать свою смерть, поймал Шоу себя на мысли. Я и так практически исчез. Какая-то его частичка этому только радовалась. Другая частичка – побольше, но так тонко размазанная по характеру, что ее почти и не заметишь, – круглые сутки беззвучно паниковала.

Вечерами среды он встречался в офисе с Тимом. Там они просматривали запись последней встречи Шоу с медиумом. В удачный день это было от пяти до пятидесяти минут спящего лица Энни Суонн; в неудачный – равнозначную по времени съемку ее шкафов, украшений, смятой одежды, стен. Шоу быстро наловчился спасать от нее перед началом транса одну руку, но обе освободить получалось редко; и так же не получалось устроиться поудобнее в искривленной позе, которую он занимал из-за ее падения на диван. В результате после каждого сеанса он выбивался из сил; а видеозапись из-за тряски камеры превращалась в зернистое пятно с плохим освещением.

Если Тим находил в записи что-то стоящее, то тут же вырезал и загружал в блог «Дом Воды», где тексты, как и на многих похожих сайтах, были написаны красным Palatino десятого кегля на черном фоне, с одинарным пробелом, – не столько эстетика, сколько обещание, бренд: некачественный внешний вид как гарантия аутентичности. Стоя над душой Тима, пока тот редактировал посты, Шоу видел огромные неразбавленные шматы текста, потом – свой материал с сеансов, распределенный в виде маленьких непропорциональных кадров между фразами вроде «PDE10A и акватическая теория» и «археологические раскопки в пещерных комплексах Юкатана». И вдруг внезапно, без предупреждения – то, что выглядело текстом совершенно другого жанра: «Вчера я видел, как на ярком солнце в иле на берегу Саус-

Пир цапля съела заживо угря. Сегодня было туманно: весь ил почти затопило, но цапля ждала на том же месте. Я боюсь скрытых каналов у стечения рек и ненавижу отлив не меньше, чем ненавижу полузатопленные лихтеры». Это показалось Шоу до странного личным, словно читаешь чей-то дневник, и он сказал не подумав:

– Ты и не говорил, что это твой блог.

– Я был уверен, что говорил, – ответил Тим с улыбкой, не поднимая головы.

Шоу не понимал, насколько это личное дело Тима. Насколько Шоу в это вовлечен? Насколько это входит в его работу? Он не знал, как спросить. Не знал, насколько ему разрешается участвовать. Он остановился на компромиссе – изобразил интерес к карте на стене.

Где-то метр на шестьдесят сантиметров, старая и выцветшая, свернувшаяся по углам, со ржавыми следами на местах, где вынули старомодные булавки. Суша – серая, вода – белая. Если долго смотреть, то как будто видишь новую планету. С океаном в виде Америк, другим океаном – в виде восточной половины России. Между ними, в центре карты, простирался огромный новый континент, даже не имевший названия. Моргнешь – и нет ничего. Как ни старайся, назад не вернется. Оставалась непримечательная карта мира, где кто-то разметил возникавшие естественным образом кластеры повторяющейся последовательности ДНК, которую иногда находят в человеческом гене Kv12.2, – как позже прочитал Шоу, этот код зародился «больше 500 миллионов лет назад в геноме морских существ» и играет «решающую роль для человеческой пространственной памяти». Зачем это отмечать – непонятно: до странного специфический взгляд на вещи, по нему в мире не сориентируешься.

Заметив, что Шоу глядит на карту, Тим улыбнулся себе под нос, будто другого и не ожидал.

– Тебе тоже интересно, – сказал он. – Всем интересно. Переночуй здесь как-нибудь. Выпей. Просмотри документацию.

– Может быть, – согласился Шоу с интонацией, которая, как он надеялся, передаст неподдельный скепсис.

Про себя он задавался вопросом, сколько еще получится уворачиваться от приглашения. В пабах или в химчистке – а казалось, больше Тим никуда не ходит, – Тим вечно с кем-то искренне беседовал. Вечно пытался кого-то в чем-то убедить. По ночам с бечевника иногда было видно, что на барже горит окошко, изнутри слышно голоса на повышенных тонах. В этом смысле Тим напоминал персонажа с картины Хоппера или что-

нибудь, выставленное в аквариуме либо пустой и ярко освещенной холодильной витрине. Считывался его язык тела. Слышался его разговор. Часто – оправдывающийся, будто он договаривается с клиентом; часто – односторонний, будто он говорит по телефону. Но иногда был и клиент – требовал, наверное, не столько возмещение, сколько что-нибудь более удовлетворительное, чем «Путешествия наших генов». А что Тим мог предложить, кроме расплывчатых идей? Чувствовалось, что он манипулятор, но плохой. Иногда казалось, что в этих разговорах он умоляет.

Шоу слишком долго со всем тянет, сказала мать во время его следующего визита. Ведет себя так, словно собрался жить вечно. «Ты не трогаешься с мертвой точки», – сказала она. А потом, после задумчивой паузы: «Люди этого не прощают».

Не новая жалоба, но Шоу все равно никогда не понимал, чего мать от него хочет. На какой скорости положено жить? Какова приемлемая плотность жизни? Из чего жизнь вообще состоит? Но Шоу бы не стал спорить, что сама мать никогда и ни с чем не тянула. Во время просмотра фотоальбомов и в голову не придет, что она когда-то замедлялась на траектории, которую для себя выдумала. На траектории в духе «начать за здравие, кончить за упокой»: стоило ее подвести какой-нибудь мелочи, как один эмоциональный проект мигом сменялся другим. Семилетнему Шоу эта подвижность казалась одновременно и ее проклятьем, и ее сокровенной тайной – ее культом. Он это любил, он этого боялся. Когда все шло хорошо, ей прямо-таки не надоедало хвастаться; на другой день жизнь вдруг становилась слишком сложной – и мать пропадала, ни слуху ни духу месяцами, а то и годами, после чего – открытка, слезное, но неловкое воссоединение, неизбежно предвосхищавшее новое расставание. А у Шоу появлялась очередная семья, которую он мог никогда и не увидеть вживую.

И так – по всему южному побережью от Гастингса до Рамсгейта, каждое новое начало – фальстарт. От галечного пляжа до неблагополучного района мать преследовала и преследовалась мужчинами с планами. Позже – на западе и севере, до самого Бристольского канала, в затерянных курортных городишках и трейлерных парках от Аберистуита до Энглси, от Ливерпуля до Сент-Эннс-Бэй она находила мелких, юрких, энергичных предпринимателей, напоминавших ей отца; мужчин, всегда умевших, как и он, очаровать ее болтовней о своей специальности, мужчин-мастеров – риелтор, плотник, подрядчик в строительстве морских военных укреплений, – мужчин с

мечтой. Весь день они вкалывали, а по ночам планировали построить картинг в деревне для пенсионеров, порностудию на безлюдном полуострове. Они знали морское побережье – может, даже любили его; в первую очередь хотели возвести на фоне его великолепия какой-нибудь собственный проект. Они по пять лет боролись за разрешение на строительство, потом гордо позировали для фотографии в футбольном шарфе на ступенях захудалого кинотеатра или в нижнем конце поля на склоне утеса, где сняли десятисантиметровый слой дерна.

С одним-двумя Шоу все еще поддерживал связь. Остальных жизнь подбрасывала случайно, словно предлагая ему – или им – второй шанс в чем-то не поддающемся определению, в чем-то с неизвестной ценностью, выражавшемся тревожностью.

В одну промозглую субботу на порог дома в Мейда-Вейле, где Шоу тогда снимал в коттедже комнату с женщиной по имени Жасмин, прибыл учитель-пенсионер из Суонси. Звали учителя Кит, и в лучшие времена он преподавал писательское мастерство заключенным строгого режима на острове Уайт. Теперь он был старше семидесяти и уже пьяный, когда Шоу открыл дверь на звонок. Три часа дня, конец ноября, через пятнадцать лет, если не больше, с тех пор, как Кит был его отцом: Шоу понятия не имел, откуда у Кита его адрес. Еще труднее было понять, что Киту надо, хотя он привез с собой папку рукописных стихов под общим названием «Умилостивить давно скончавшееся сердце». Он с ними ужинал, смотрел телевизор, пил шираз до лежачего состояния, потом Жасмин отвезла его на станцию подземки в своем «Остине Метро». В машине он распространялся о своей теории сердца: положил руку на колено Жасмин; назвал Шоу молокососом. Если ей нужен настоящий мужчина, пусть потом поищет его, предложил он.

– Он опоздал на последний поезд, – сказала она, вернувшись. – Я его просто там оставила.

Шоу было стыдно за них обоих.

Через несколько месяцев Кит умер под наркозом во время обычной операции по удалению варикозной вены. К тому времени Жасмин, озадаченная Шоу не меньше, чем Китом, уже съехала с лесоводом. Никто ее не винил. Похороны, куда Шоу совсем не тянуло, прошли где-то в подмышке полуострова Гоуэр; стихи он сохранил, хоть они и были так себе. В контексте отношений с матерью такие мужчины, как Кит, чаще казались не блудными, а заблудшими. В воспоминаниях Шоу не хватало их восприятия как людей: а на таком расстоянии он уже не мог его вернуть.

– Козлы, – говорила его мать просто, – все поголовно.

Но что вообще знаешь о людях? Стараясь отвлечь ее и спасти

фотоальбомы от уничтожения – наверное, на случай, если в конце концов он что-нибудь из них почерпнет, как о себе, так и о ней, – Шоу часто носил ей фильмы. Они смотрели их вместе, днем, на «Панасонике» дома престарелых с плоским сорокадюймовым экраном. Он отбирал фильмы, которые могли бы нравиться ей в молодости, если они теперь существовали в виде оцифрованных ремастеров с бонусным материалом. «Лестница в небо», «Эта замечательная жизнь», «Красные башмачки», «Незнакомцы в поезде», «Я знаю, куда я иду». Но настоящего успеха добился только с «Короткой встречей», во время которой она улыбалась и счастливо посмеивалась, и с «Леди и бродягой» – его она смотрела так, будто это передача о природе. В большинстве случаев она засыпала и оставляла Шоу скучать и злиться во время бесконечных циклов Пауэлла, Прессбургера или комедии студии «Илинг».

В пять часов она просыпалась, оглядывалась, бормотала так, словно все еще у себя дома: «О боже, пожалуй, наведу себе чая». Потом – тревожно:

– А сегодня мы не будем смотреть фотографии?

– Мы только что посмотрели фильм, – приходилось объяснять Шоу, – вместо фотографий.

– Какой фильм? – ответила она в этот раз. – Не говори глупостей, не видела я никакой фильм, – и, словно продолжая ту же мысль: – Просто не жди, когда жизнь сама к тебе придет, вот и все. Вот тебе мой совет. Жизнь тебе этого никогда не простит.

По дороге на выход он задержался взглянуть на Арнольда Бёклина в общей комнате, но обнаружил, что его вместе с остальными картинами временно перевесили в другую часть здания, а его место заняли несколько мелких репродукций Джона Эткинсона Гримшоу.

Мутные улицы речного вида в Лидсе девятнадцатого века; версия Хэмпстеда, перенесенная на расплывчатые утесы над мелководьем; неопределенные фигуры на широкой, пологой и безлюдной набережной. Вдали, в ночи волнуется море – сырой воздух, близится ненастье. Все жидкое. Где луна не светит на воду, там *кажется*, что луна светит на воду: не поймешь, что хотел сказать художник. Окутанный перемешанными ароматами дома престарелых и мастики для полов, пока позади прибоем или тиннитусом шумели автомобили на A316, Шоу сидел как привороженный, пока не закончились часы посещения и его не попросили на выход. Если сравнивать перемены с морской непогодой, думал он на поезде обратно в Мортлейк, то свой кризис – чем бы тот ни был – он может назвать скорее распределенным, чем катастрофическим. У морского волнения

нет одной причины, оно происходит не припадочно и не совсем окончательно: возможно, как и любой человек, ушедший в жизнь с головой, Шоу просто переживал серию подстраиваний, перерастаний и распадов, – процессов настолько медленных, что они вполне могут тянуться до сих пор, и тогда происходящие с ним события – не столько итоги, сколько расширяющийся край катастрофы, бьющийся в совсем недавно незнакомые берега.

– И еще, – как-то раз пытался он объяснить Виктории Найман вскоре после того, как они впервые переспали. – Возможно, кризис вовсе даже не твой. Возможно, вообще никто не может с полным правом назвать кризис личным. А без требования признать кризис своим его почти и не заметишь.

– Напомни: а где именно тогда проходит этот кризис?

– Я просто говорю, что ты тогда как бы часть общей картины, – и потом нетерпеливо: – Чем бы ни была эта картина.

– В этом-то и вопрос.

Виктория все еще писала по электронной почте. Растущие пробелы в повествовании предполагали, что ей стало интереснее вести жизнь, чем ее описывать. Она все еще обожает дом, говорила она, хотя крышу кое-где еще надо доделать, а подвалы – осушить. «Почему подвал, – спрашивала она, заключая слово в звездочки, словно этим как сдерживая его, так и подчеркивая, – кажется таким романтичным, пока не подпишешь договор?» Она встречала довольно странных людей. Вечно была в разъездах. И часто гуляла, знакомилась с графством – сплошь историческим памятником из конца в конец. В следующем году закрывалась местная электростанция. «Тем временем каждая развалина на шестьдесят километров вокруг претендует на то, что это в ней проходил Парламент 1432 года». Что он об этом думает?

Ее переполняла непоседливая энергия. Ни недели без того, чтобы не поддеть его. «Как вы там с рыбкой поживаете? Все еще любите друг друга?» Не столько имейлы, сколько шум веселой, но неразборчивой радиопередачи из открытого окна дальше по улице. Иногда он не читал их день-другой, иногда – вообще.

12
В шторм любая гавань хороша

Поздно вечером, по дороге домой вдоль реки от «Фокс Инн» в Хануэлле, Шоу приспичило.

Река поднялась. Фонари вдали от бечевника достаточно сходили за луну, чтобы самим отбрасывать тени. Шоу направился к одной из самых заросших барж, вереницей лежавших в иле в нескольких сотнях метров вниз по течению от слияния Темзы с Брент. Баржа была побольше остальных и, пожалуй, его любимая, хотя раньше он видел ее только при свете дня, когда на носу можно разглядеть слово «Анабасис» ржаво-белыми буквами.

Подниматься на нее надо было через бетонную стенку между двух пней от ив, потом – по алюминиевой лестнице новенького вида и через узкий трап в пяти метрах над поднявшейся водой. На борту вас встречал душный заросший край, замусоренный смятыми и побелевшими пивными банками, рваными целлофановыми пакетами, оставленным, словно в подношение, нижним бельем; все пропахло геранью Роберта и – что более загадочно – дешевым песто. Все это было знакомо. Но тропинки, которые Шоу отлично знал днем, в темноте были уже не такими дружелюбными, и скоро он затерялся среди беспорядочной мебели на палубе, гнезд из проволоки и штабелей волглых досок, старых округлых люков, казавшихся проходами в преисподнюю. Среди кустарников бузины и лещины, последняя – черная от прошлогодних сережек, висящих над водой. Корпус, пока его поднимал прилив, ворочался и поскрипывал. Все казалось больше, чем ожидал Шоу. Через несколько минут ощущение бездны слева убедило, что в том направлении будет река. Тогда он вышел к береговой стороне большого тупорылого носа, где бак, прогнивший из-за кислот, десятилетиями сочащихся из почвы, мягко провис в пустой трюм, оставив полянку в форме блюдца.

Ничего особенного – несколько квадратных метров как будто выстриженной лужайки, с гнилым ощущением пружинящей под ногами. Ее края были замусорены, но не центр. Лунный свет выбелил все, вызывая ощущение, будто пространства здесь больше, чем можно подумать; и от чего-то призматически бликовал – сперва Шоу принял это за битое стекло, но потом обнаружил ровный ряд из трех викторианских медицинских флаконов, ввернутых под углами в почву, словно она сама надежно наросла вокруг них. Каждое сколотое горлышко затыкал

лоскуток заляпанной ткани. Восьмиугольные, с квадратными плечами. В свое время они символизировали облегчение от боли, облегчение от жизни – облегчение от хворей и откровений жизни; теперь их смысл стал неясным, хотя точно не декоративным. Бережно закупоренная внутри молочная жидкость напоминала сперму, но на второй взгляд выглядела не такой густой. Лунный свет придавал ей зеленоватый оттенок.

Когда Шоу наклонился к этому зрелищу, из кустов поблизости что-то прошмыгнуло. Хлипкая палуба прогнулась и задрожала. События как будто ошеломили его даже раньше, чем он их осознал. Что-то холодное и мускулистое схватило его за предплечье. Нахлынул незнакомый запах. Шоу подняли с земли и отпихнули в сторону. Момент смятения, пока он пытался восстановить равновесие; очередное столкновение, от которого его развернуло; затем голая фигура – очень бледная и не такая крупная, как он уже было ожидал, – нырнула в растительность и опрометью бросилась между стеблями. «Эй!» – крикнул он, но она уже пропала. Со стороны реки корпус опустился и закачался; потом снова приподнялся, словно с него сняли ношу. Последовал глухой всплеск, а после этого – недолгое энергичное барахтанье, как будто чересчур далеко на реке. Тишина. Шоу уставился во тьму. Типичная ночь на берегу Брент, по мосту Кью ехали машины, дальше по бечевнику кто-то смеялся и блевал, из открытой двери быстро пахнуло музыкой. Он помассировал руку там, где ее хватали. Пальцы после этого стали холодными, липкими и влажными.

– Господи, – сказал он, взволнованно отирая руку о штанину. – Так-то уж зачем.

Бутылочки пропали. Он присел и пару секунд шарил пальцами в оставшихся от них аккуратных восьмиугольных отверстиях; затем, представив, что земля полна ржавых лезвий, перегнойных экосистем из презервативов, рассадников микробов, литров мочи, причем, возможно, и его собственной, – торопливо встал, снова вытер руку и выбрался на бечевник, прямиком к арт-центру «Уотерманс», чьи ядовито-красный кирпич и бесконечно разветвляющийся задний фасад настолько его дезориентировали, что он ненадолго заблудился и пытался войти через пожарный выход, три-четыре раза со всей дури бросившись в темноте на дверь, потом наконец смог проникнуть в здание с фасада, найти бар на первом этаже и, тяжело дыша, выпить виски, таращась на фиолетовый неон и пустые пластиковые стулья вокруг.

На следующее утро, после петляющих зыбких снов, он отправился к медиуму.

В эти отношения уже проникло морское волнение. Он звонил ей почти каждый вечер, то и дело ошибаясь номером, глядя между попытками на летний дождь, полирующий крыши на противоположной стороне Уорф-Террас. Наутро он всегда с трудом вспоминал, что ему от нее было надо, хотя в памяти всплывали вроде бы типично его фразы: «ощущение того, что уже мертв» и «съемное жилье». Ему было стыдно. Это вошло в привычку. Никак не получалось обойти какую-то силу внутри него самого, которая требовала не существующего в этом мире успокоения и смыслу которой он и сам удивился, когда проговорил его вслух.

– Штука в том, что я не понимаю, где я. Сейчас.

В ответ – только податливая тишина. Ему эта тишина показалась недоумевающей, спокойно непродуктивной, но в то же время почему-то все еще ожидающей – даже напряженной. Она редко клала трубку первой.

– Иногда, – в конце концов отозвалась она, – нам просто нужно услышать другой голос, – и этим позволила Шоу продолжить свой самобичующий лепет:

– Я не такой. Не всегда был таким.

– Никто не может жить без перемен.

На встречах медиум об этих разговорах не напоминала. И вообще иногда была такой занятой, что как будто не узнавала в Шоу человека, который приходит раз в неделю.

На Мортлейкском кладбище со стороны Авеню-Гарденс на скамейке сидела женщина и медленно ела то ли шаурму, то ли питу с начинкой. Барнсская больница по ту сторону кладбищенской стены объявляла, что предлагает «лучшее обслуживание для людей с психическими заболеваниями». Возможно, женщина была пациентом на прогулке, но выглядела такой задерганной, что вполне могла бы оказаться и медсестрой. Когда Шоу помахал, она быстро встала и ушла. Он уже сам себя убедил, что это была Энни Суонн, и даже удивился, когда через минуту постучался к ней – и она открыла. Дверь вела сразу в гостиную. Снаружи с кладбища на стену над камином просачивался свет, лежал там бурый и вялый.

– Я думал, что видел тебя там, – сказал Шоу. – Не думал, что застану тебя дома.

Она бессмысленно посмотрела в ту сторону, куда он показывал.

– Лучше заходи, – сказала она, – и присядь.

– Я друг Тима, – напомнил он.

– Тима? – переспросила она. – У Тима нет друзей.

Она рассмеялась. Вдруг присела прямо перед ним и пошарила вокруг половика. Шоу недоуменно уставился на ее макушку.

– Тому, кто жил здесь до меня, писем приходит больше, чем мне, – сказала она. Унесла почту на кухню и через минуту-другую молчания окликнула: – Наверное, в парке могла быть и я.

Он услышал, как рвется конверт, льется вода из крана, стучат на сушилке какие-то кастрюли. Вернувшись, она была уже больше похожа на себя.

– Я называю это парком, – сказала она. – Не всем хочется помнить, что они живут рядом с кладбищем! Теперь заходи, садись, и мы начнем.

– Я всегда чувствую такое спокойствие на сеансах с тобой, – сказал Шоу, – такое умиротворение.

Он пытался добиться от нее реакции, но сказала она только:

– Это хорошо. Это очень хорошо.

У сеанса был свой ритм. Шоу уже достаточно к нему привык, чтобы аккуратно высвобождать руку, пока Энни пыхтит и ворочается в измененном состоянии сознания, и бродить по ее дому. В этой террасе все коттеджи строились с одной комнатой на этаже, кухня и ванная были пристройками в маленьких садах-патио, наверх в спальню вела крутая лестница. Шоу послонялся и там. Ничего нового он не увидел. Взял фотографию двоих детей – если это и были дети Энни, то жили они не с ней, – и забрел в ванную, где сильно пахло гелем для душа и зубной пастой. В ванне еще оставалось воды сантиметров на пять-десять, в которой плавала механическая игрушка – розовая пластиковая фигурка человека в купальном костюме в сине-белую полоску из эдвардианских времен. Игрушка и вода составляли самодостаточный, удивительно полноценный мирок. Игрушка оживленно, но медленно жужжала по ванне, пока не стукалась в стенку. После ее путь был крабьим, нерешительным, пока не кончался завод. Она липла к краям. Вода все еще была прохладной, словно Энни вылезла на коврик в эту самую минуту. Шоу отправил фигурку еще на заход-другой, потом достал, быстро протер полотенцем и сунул в карман. Фотографию он вернул в спальню.

Он часто задавался вопросом, как медиум вписывается в собственную жизнь. Все письма на кухне – со знакомым почерком – были адресованы «Энни С. Суонн». Открыто оказалось только одно. Он уже собирался прочитать, когда услышал, как она кого-то зовет в трансе. Вернулся и посмотрел на нее. Потом глазел на стену над камином, пока не пришло время сесть и снова взять ее за руку.

– Я кое-что в тебе замечаю, – сказала она, проснувшись. – Тебе стоит прислушиваться к тем, кого ты знаешь.

Теперь была его очередь смеяться.

– А кого я знаю? – спросил он. – Кого я, по-твоему, знаю?

Он рассердился и сам удивился, с чего это. Вспомнив свои социальные трудности последних лет, посетовал:

– Люди хотят помочь, но могут отталкиваться только от своей теории о тебе. Тебя с тем же успехом может и не быть. А разговаривают они в конце концов сами с собой.

– И все равно, – сказала Энни Суонн, спокойно разглаживая юбку.

– Никого я не знаю.

Вернувшись на кладбище, он все равно чувствовал себя так, будто перебирает чьи-то пожитки, причем даже без интереса. Женщина, которую он видел ранее, снова ссутулилась на скамейке и все еще что-то ела. Классифицировать ее не получалось. Она была старше матерей, кого можно встретить в Ист-Шине днем, которые ходят в компрессионных чулках и дорогих ботинках для бега; осанка слишком плохая. Позади нее завалились под острыми углами старинные тонкие надгробия; в траве рядом со скамьей лежала на боку красная пластмассовая лейка. С его последнего посещения медиума на доске объявлений у ворот появился номер горячей линии управы. Что за чрезвычайное происшествие, ненадолго задумался Шоу, может случиться на кладбище? Срочная необходимость кого-то похоронить?

Полило, причем затянулся дождь на весь лень. Он вернулся домой, задремал перед фильмом, который носил матери – «Плата за страх», – и вечером встретился в офисе с Тимом Суонном, чтобы передать хронику последнего транса Энни.

Реакция Тима на эти доклады никогда не менялась. Устное резюме самого Шоу его как будто не интересовало. Он скачивал видео, потом неторопливо барабанил пальцами, разочарованно вздыхал, но тут внезапно придвигался, словно что-то на экране все-таки цепляло его взгляд. Потом требовалась всего пара нажатий, чтобы собрать из десяти секунд записи гифку и вставить в «Дом Воды».

– Ты видишь то же, что и я? – спросил он теперь Шоу.

Шоу ничего такого не видел. Энни Суонн лежала на диване, медленно открывала и закрывала рот. Она выглядела умиротворенной. Явно спала. Вдруг в верхнем правом углу кадра замигала метка времени. Пытаясь ее убрать, Тим сказал с просчитанной небрежностью:

– Ты все равно пока застрял тут; почему бы не почитать как

следует документы?

На гладь реки падал дождь. После прогулки по бечевнику они оба промокли. Оба не сняли куртку. Они присматривались друг к другу, как два животных, которые встретились в поле и пытаются понять, чего ожидать в этой ситуации. Шоу распознал короткое замыкание, новый контакт, неизбежный результат их первой встречи на кладбище: то, что должно было случиться тогда же, на месте, если бы Шоу не тянул до сих пор. Тим будто припер его к стенке; но еще он понял, что и Тим чувствует себя припертым к стенке – собственными потребностями. Теперь было уже поздно предлагать взамен сходить в «Эрл оф Марч» – кроме того, Шоу уже тошнило от тамошнего лабиринта из маленьких залов, набитого с шести часов риелторами и бюджетниками среднего звена, – и потому, понимая, что если позволит тишине продолжиться, то они оба уже не поймут, как из этого выкручиваться, Шоу сказал – ну да, можно.

– Хотя, – осторожно добавил он, – у меня сегодня вечером маловато времени, – будто честность вынуждала его признать, что с его точки зрения лучше подойдет любой другой вечер.

– Ну, тогда вкратце, – подбодрил его Тим. – Пробегись быстренько глазами.

– Да, отлично. Вкратце – это отлично.

– Отлично.

Краткая версия – толщиной где-то в шесть сантиметров – оказалась распечаткой с сайта, стопкой репортажей из СМИ, наблюдений и научных рефератов обо всем, от турецкого «таинственного города» Гёбекли-Тепе до состава горста в бассейне Кукушили на Центральном Тибетском нагорье; от древних миграций народов – определенных по митохондриальному гаплотипу – до гностической парадигмы науки сталинского периода. Всюду что не истина, то загадка. Истины и загадки шли параллельно, застывали в несогласно залегающие слои времени и данных. В Саутгемптоне, в Англии, на берег вымыло части тела. Кто-то придумал приложение для опознания неизвестных мест методом сопоставления с «библиотекой из шестидесяти миллионов изображений». Два абзаца из «Википедии» пролили новый свет на продукты метаболизма, обнаруженные в недрах тектонической плиты Хуана де Фука. Доказано, что в первый полный геном неандертальца входит ДНК как минимум одного ранее неизвестного вида человека; в то же время в Висбадене в Германии прохожие видели, как из канала вылез мужчина сорока лет и бросился прямо в оживленное движение на ближайшей двухрядной автостраде, где его сперва сбил черный «БМВ Е 30» с британскими

регистрационными номерами, затем – «Пежо» цвета «средиземноморский синий».

Бесполезная точность двух последних фактов как будто подытожила всю коллекцию, прослоенную стикерами – «Какова природа наших отношений с городами на суше?» – и личными заметками, словно из-за своей потребности найти единый сюжет в гуще событий куратор уже перестал видеть разницу не то что между разными научными методологиями или видами фактов, но и между собственными одержимостями и личной жизнью – хотя последняя часто выглядела хилым и вторичным наростом на первом.

Стоило Шоу прочитать пару страниц, как Тим полез к нему через плечо – показывать взаимосвязи.

– Взгляни сюда, – возбужденно пролистывая через три-четыре страницы, – и не пропусти вот это! Видишь, что из-за одного вывода невозможно избежать другого? Видишь, как все элегантно складывается?

Шоу ничего не понимал. Когда он так и сказал, Тим мудро кивнул, словно услышал взвешенный академический тезис.

– Именно это меня и тревожит! Применима ли здесь в качестве правильной методики логика в *любом* ее понимании?

Не зная, как ответить – и в любом случае опасаясь, что из-за любого ответа это только продолжится, – Шоу услышал, как объявляет даже с бóльшим напором, чем задумывал:

– Сегодня Энни получила твое письмо.

Воцарилось молчание, испуганное и раздраженное со стороны Тима, дезориентирующее для Шоу, и теперь оба не знали, что делать. Кто-то прошел мимо по Тропинке Темзы, крича в мобильник: «Но он хорошо себя чувствует? Ну хорошо, если хорошо». Вниз по реке завыл ветер, бился в ржавый металлический корпус лихтера и стучал в деревянные стены кабинета; на отлив падал дождь. В отдалении слышалось, как вечерний трафик выбирается из Ханслоу на запад по шоссе A315, в Чизик.

В конце концов Тим сказал:

– Короче, мне кажется, тебе очень понравится вот это. – Он протягивал «Путешествия наших генов».

– Шикарно, – сказал Шоу. – Спасибо. Возьму все это с собой.

– Бери все это с собой, – сказал Тим Суонн, словно не услышал. – Я подписал книгу.

В следующий визит в дом престарелых Шоу обнаружил мать в общей комнате, в кресле под репродукциями Гримшоу. Оживившись после какой-то перепалки с персоналом то ли из-за

постельного белья, то ли из-за ванной – ему толком не объяснили, – она сидела, подвернув под себя ноги, словно девушка куда моложе. Это была поза триумфа, упрямства и возобновленной уверенности в своих вариантах. В краешке ее глаза поблескивал солнечный свет. Скоро она уже наотрез отказывалась идти к себе в комнату и смотреть «Эта замечательная жизнь».

– Но ты же сказала, тебе нравится.

Она рассмеялась.

– Ни разу такого не говорила. – Затем, бросив на «В опасности» Гримшоу презрительный взгляд, словно нашла у художника такую же простейшую ошибку насчет положения вещей: – И эти мне не очень.

– А что тебе больше нравится? – спросил Шоу. – Моркамский пирс?

Он достал книжку Тима Суонна, открыл наобум и начал читать вслух. Его голос во время чтения вгонял мать в пассивность. Он лелеял это эмоциональное преимущество с шести лет – того времени в его жизни, когда она казалась сфинксом или каким-нибудь еще мифологическим созданием: харизматичным, подверженным капризам, которое трудно познать и еще труднее умилостивить. Это стало его единственным оружием в асимметричном конфликте матери и сына. Теперь она – скорее обуза, чем угроза, – полусидела-полулежала в восковом покое, уставившись в сад, где по газону с каким-то взмыленным видом скакал дрозд.

– Не думай, будто я не знаю, чего ты добиваешься, – сказала она. – Хочешь ко мне подлизаться.

Слушая, она не спускала глаз с трудов дрозда среди копролитов. Где-то через десять минут она поднялась на ноги, постучала в окно и с удовлетворением смотрела, как птица улетела.

– Что-то маловато сюжета, – сказала она. – В этой твоей книжке.

Шоу признал, что маловато. Такая же строчка за строчкой неорганизованная, как и «Дом Воды». Статьи из научных периодических изданий всех видов стояли бок о бок со статьями-топами и городскими легендами. Эти принципиально бессвязные тезисы грамматически верно объединялись, чтобы выводить якобы причинно-следственные взаимосвязи. Совершенно разумные переходы вроде «однако» и «хотя действительно» скрепляли лишенные всякого смысла утверждения, словно автор научился подражать структуре предложений, но не представлял, как привязать к ним содержание. Неправильно называть такой

подход «выборочным», думал Шоу, потому что это предполагает наличие теории, ради которой данные выбирали. А он читал просто бесконечное перечисление тезисов.

Пролистывая книгу в поисках того, что завладеет интересом матери, он наткнулся на репродукцию карты со стены офиса – на полную страницу, в трех цветах и с дополнительными символами, из которых он не узнал ни одного.

– Книга не моя, – сказал он, – если что.

В пассаже под картой Тим задавался вопросом: «Кому хотя бы раз в жизни не снились странные организмы? Паразиты. Водорослевые маты. Микроскопическая активность в базальте земной коры, опознаваемая лишь по продуктам жизнедеятельности, – „возможно, крупнейшая экосистема на Земле“. Не совсем животные. А чаще всего, надо сказать, – то, что живет в слоях слива. Они мягкие. Еще мне снится жилистая, волокнистая штука, как в испортившемся авокадо. В моем случае она темно-красная и находится во всем».

Шоу закрыл книгу и пожал плечами.

– Ну так-то, знаешь, всегда можно посмотреть Дэвида Аттенборо, – сказал он.

– Я отлично знаю, что ты делаешь.

13
В сторону Суоннов

У Энни Суонн были и другие клиенты. Шоу их не видел – хотя однажды нашел желтый целлофановый пакет с компакт-дисками, который, как она сказала, кто-то забыл под стулом, – не считая регулярного массового сеанса, проходившего по вечерам второго вторника каждого месяца.

Для этого мероприятия большую часть мебели делегировали на кухню. Задергивали шторы, диван ставили перед пустым камином. Хотя это был не привычный для Шоу формат встречи, «массовый» – тоже, пожалуй, слишком сильный эпитет. Событие проходило формально на любительский манер, словно все участники не очень привыкли общаться с другими людьми. Где-то с семи часов комната на первом этаже заполнялась десятком мужчин в деловых костюмах или австралийских хлопковых куртках с восковой пропиткой. Седые волосы до воротника и светло-синий гернсийский пуловер обозначали пенсионера. У каждого в глаза бросался какой-нибудь дефект – мощная челюсть, один глаз чуть больше другого, – и, хотя все выглядели обеспеченными людьми, Шоу думал, что им не хватает патины здоровья и слегка откормленного вида, как ожидаешь от пенсионеров Западного Лондона. Набившись в комнатушку, вынужденные перегруппировываться каждый раз, когда дверь впускала опоздавшего, они бодро, но без уверенности перекрикивались. Одного-двух он узнавал, но не смог вспомнить откуда. Женщин почти не было.

Примерно через полчаса – в это время Энни просила своего любимчика недели разнести круглые бокалы с полусухим шерри и закуски из «Уэйтроуза» – медиум занимала свое место на диване, неопределенно улыбалась минуту-другую, потом мало-помалу с трудом проваливалась в спиритическую кому. Мужчины неловко глядели мимо нее в стену над камином. Никто не говорил и не двигался, хотя изредка друг на друга косились. В таких условиях сообщить что-либо ей было уже не в удовольствие, а в труд. Под конец она всегда выбивалась из сил. Долго длился период отсутствия связи, неглубокий делирий, пока она сучила и подергивала ногами. Мужчины, медленно приходя в себя, словно от такого же психического контакта, покашливали и разминали ноги. Смотрели друг на друга пустыми взглядами; потом, поглазев на Энни – наверное, в надежде на что-нибудь еще, – один за другим уходили из дома, напуская внутрь

холодный вечерний воздух. Шоу, который часто задерживался, чтобы заварить ей чай и помочь перетащить диван на обычное место, наблюдал, как они разбредаются через кладбище. Когда они окончательно скрывались, Энни устало улыбалась, похлопывала его по руке, трогала за плечо. Если эти жесты и задумывались как флирт, то она, думал он, пытается нащупать контакт лишь подсознательно. Просто поведение вымотанного исполнителя. Она и сама не замечала, что делает.

Однажды вечером после сеанса он увидел, что на стене в гостиной появилась карта из офиса Тима – или точно такая же. Равномерно прикрепленная десятком ярко-красных булавок, та ровно входила в бледную область над камином. Но когда Шоу обратил на это внимание Энни – сказав что-то вроде «Как будто здесь и была», – медиум вдруг рассердилась.

– Она здесь и была, – сказала она. – Она моя. Это моя карта, и она была у меня.

Затем, словно ожидая, что он заспорит:

– Она моя. Всегда была моя. Если хочешь помочь, просто отнеси бокалы для шерри в посудомойку.

Шоу разглядывал карту, которая теперь господствовала в комнате с сизым паласом и сосновой мебелью восьмидесятых. Здесь свет раннего вечера, не разбавленный рекой, падал прямо, чего не увидишь в домике на лодке, и подчеркивал, что бумага жесткая и хрупкая, затрепанная, сворачивается по краям. Вблизи она слабо пахла, почти как старые книги, почти как вода в ванной после мытья. Кое-где встречались выцветшие места. Затертые пятна, сероватые и маслянистые, распределенные вдоль побережий и посреди океанов, словно указательные пальцы, поколение за поколением обращали внимание на точки, чья важность вечно ускользает от неподготовленного зрителя. Когда Шоу моргнул, вода послушно поменялась местами с сушей.

Позже он сказал:

– Тебе не стоит так себя утруждать.

За окном он видел, что последний ушедший клиент – мужчина в горчично-желтых вельветовых брюках и бордовом пуловере, простоявший весь сеанс с какой-то обувной коробкой под мышкой, – все еще слонялся у входа на кладбище. Где-то через минуту к нему присоединились две женщины в штанах до лодыжки и еще один мужчина с удивительно белыми волосами. Все четверо – лет шестидесяти, хорошо сохранившиеся, с переливистыми голосами и своими наборами тиков. Одна женщина вела пару такс на одном поводке. После разговора они сели в «Ауди Эстейт». Вразнобой хлопнули двери, затем машина двинулась на восток по Саус-Уорпл-вэй к железнодорожному

переезду на Уайт-Харт-лейн. Шоу следил за ними с каким-то непониманием.

– Кто вообще все эти люди? – сказал он. – Они же тобой просто пользуются.

– Ты очень милый, – ответила Энни, – но и немного наивный.

Он размышлял над этим вердиктом за пирогом с курицей и со свиной рулькой в «Эрл оф Марч». Паб казался еще безлюднее обычного, а от чего-то в воздухе чесались глаза.

– На меня не смотрите, – сказала ему девушка за стойкой. – Это от чего-то, что сыплют в туалеты. Так уже весь день.

– Да я на вас и не смотрю, – сказал Шоу.

Через несколько дней после того, как на стене у Энни появилась карта, он встретил Тима Суонна в Барнсе, со стороны реки. Была суббота, скорее начало весны, чем лето, и над чизикским берегом раскрывалось небо. Тим казался таким же мутным, как и всегда. Рукава желтоватого хлопково-вельветового пиджака закатаны до локтя. Ранее он занимался чем-то таким, после чего на одной стороне лица осталась слабая равномерная краснота. А сейчас таращился в витрину риелтора – одного из десятка крокодилов, что выползли на главную улицу от набережной, – нагруженный парой сырых на вид продуктовых сумок, которые при виде Шоу поднял повыше. Они были такими тяжелыми, что на ладонях прорезались воспаленные складки.

– Всегда ходи за рыбой пораньше, – посоветовал он.

И затем, словно обязательно что-нибудь купил бы, если бы рынок недвижимости вел себя разумно:

– Ты только посмотри на эти долбаные цены.

Шоу присоединился к нему у витрины, они недолго поболтали. Потом Тим сказал, что ему надо в Хаммерсмит. Они прошлись вместе до Барнсского пруда. На машинах, с трудом пробивавшихся от Черч-роуд до Стейшен-роуд, поблескивал солнечный свет. На островке посреди пруда ссорились утки, а на стоянке Эссекс-Хауса деловито шумел перед неизбежным обедом фермерский рынок – там состязались за последние порции домашней пасты нервные банкиры из Франции и Скандинавии, как обычно, влет расходилось мясо коров свободного выпаса из Сомерсета. Между одиннадцатью и двенадцатью парк заполнялся проджект-менеджерами на прогулке, с детьми и одинаковыми шоколадными лабрадорами по пути в «Котсволдс»; теперь на берегах пруда столпились младенцы, робко предлагая буханки ремесленного кислого хлеба гусям и чайкам на отмелях. «Дорогой, – крикнул кто-то, – *пожалуйста*, не позволяй себя обижать!» Тим взглянул на эту деятельность с плохо скрываемым раздражением – напряжение проявилось в еле заметных

движениях плеч и уголков рта.

– «Морт Лейк», или «Темный Пруд», – сказал он. – Если бы они хоть немного знали историю – если бы они знали то, что знал об этом месте Джон Ди, – держали бы гребаных детей дома.

Шоу понятия не имел, что тут имеется в виду, но заподозрил отсылки к «Дому Воды» или «Путешествиям наших генов». И мог только пожать плечами в ответ. Он уже бросил все попытки их прочитать.

– А я знаю больше их? – спросил Шоу вслух тоном, который, как он надеялся, покажет, что он что-то да знает – просто сам вопрос, что именно *можно* познать, намного сложнее, чем кажется. – Не уверен. Это же ты у нас знаток.

Тим усмехнулся.

– И в самом деле.

Пару минут они задумчиво смотрели над прудом. Дорожное движение встало, сдвинулось, снова встало. Этим утром у всех было слишком хорошее настроение, чтобы гудеть.

– Если бы они знали, почему в 2001 году Темные Пруды опустошились за одну ночь, они бы держали детей дома, – произнес Тим. – Ах да, – добавил он, мрачно улыбнувшись себе под нос. – Теперь тебе интересно, почему я сказал «пруды» во множественном числе.

– Это, кстати, не твой автобус?

– Боже.

Шоу смотрел, как он пролезает между всякими «Мазерати Битурбо» и пляжными велосипедами «Пэшли», перебрасывая сумки с протекающей рыбой из руки в руку. На ходу Тим сказал через плечо:

– На следующей неделе ты опять нужен нам в Мидленде!

Во вторник они сели на поезд в Вулверхэмптон. Поезд отправлялся позже, чем ожидал Шоу, и был более заполненным. Останавливался он на каждом шагу: после каждой остановки люди беспомощно бродили по вагонам, похлопывали по багажу на сиденьях, словно потерялись в какой-то совсем не линейной системе, и спрашивали: «В этом вагоне тихо?» В проходе быстро нагромоздились кучи багажа, создавая пробки перед туалетом. Шоу сидел у окна. Тим – напротив, глядя, как мягко скользящий лесистый ландшафт слегка сереет в отдалении под дождем. Ближе тянулись посадки тополей, на первом плане проносился низкий мокрый луг, выходивший на стоячую воду, а потом – на небольшие заросшие ежевикой поля. Вагон заполнялся крепким запахом недопереваренного пива. Шоу спросил Тима, не хочет ли он перекусить. Тим посмотрел в ответ так, будто это нелепая

шутка.

Всю дорогу на север Шоу слышал, как на местах сзади него переговаривается пара.

– Должен же быть в этих облаках какой-то смысл! – сказала с ненамеренным вздохом удовольствия женщина.

Облака были сложными, многослойными, рваными ветром, омытыми тускло-металлическим светом; но мужчину рядом с ней они не интересовали.

– Где Майкл? Где Майкл? – твердил он в телефон слишком тихо и слишком близко к уху Шоу. – Только не забудь. Не забудь! – И все – со скрытым напряжением, словно опасаясь слежки: – Где Майкл?

Затем с другой интонацией, одновременно разочарованной и пренебрежительной.

– Не забудешь про него? Ну ладно. Тогда ладно. До свидания.

– Предпочитаю мятный чай с настоящими листьями мяты, – сказала женщина.

– Хочу ли есть? – переспросил наконец Тим у Шоу. Огляделся. – А что предлагаешь?

В Вулверхэмптоне их ждало местное такси – пропахшая псиной и рыбой «Тойота». Водитель, похоже, уже знал Тима. Это был коротышка в скользкой на вид гоночной куртке «Кастрол» из семидесятых, с лицом раскрасневшимся, морщинистым и складчатым после шестидесяти-семидесяти лет жизни в Мидленде. Из-за какой-то инфекции каждый раз, когда он подъезжал к кольцевой развязке, ему приходилось доставать старомодный хлопковый платок и аккуратно утирать слезящиеся глаза. Один раз он оглянулся через плечо на Шоу так, словно они сидели за соседними столиками в пабе, и спросил: «Невесты боярышника[12] уже не так хороши, а? Какие-то чахлые для своего самодовольства!» После этого смотрел прямо перед собой и кивал, пока «Тойота» не выползла на встречку. Тим быстро придвинулся с заднего сиденья, взял водителя за макушку и направил вперед.

– Постарайся не отвлекаться, – сказал он.

– Для боярышника уже поздновато, – обратился к ним Шоу. – Боярышник уже давно отцвел, правильно?

Кольцевые пейзажи с ресторанами навынос и тату-салонами уступили пригородным центрам огородников и спортивным полям, а те, в свою очередь, – песчаным пустырям и лесам: страна Исторического Наследия, где каждая деревня претендует на то, что в пятнадцатом веке в ней собирался Парламент. Через пятьдесят минут этих видов Шоу начал замечать знакомые таблички.

– Это Кинвер, – сказал он. – Здесь живет Хелен. Что мы здесь

делаем?

Тим рассмеялся.

– Все раскроется, – сказал он. – Я не сомневаюсь.

– Ты сегодня что-то злой, – сказал Шоу.

Ко времени приезда пошел дождь. Деревня раскинулась с таким же эфемерным видом, что и промышленный район под светом уличных фонарей; дальше в долине ветер бился о склон, чернил древний песчаник над домом Хелен, гнобил кустарник ниже. Шоу с таксистом стояли промокшие и не в своей тарелке, пока Тим держал палец на звонке. Наконец она их впустила.

– Привет, – сказал Шоу.

Она была тоньше, чем он помнил, в компрессионных чулках длины три четверти и в топе «Лулулемон». Он ей улыбнулся, но в ответ улыбки не дождался. За ними хлопнула дверь. Внутри было прохладнее, чем снаружи; о стены коридора бился мотылек. Таксист, очутившись в гостиной, с каким-то насмешливым недоверием уставился на репродукции цветочных натюрмортов Джорджии О'Киф. Со времени последнего посещения Шоу мебель как будто переставили случайным образом. Теперь он думал о Хелен как о человеке, который слишком доверяет своему мировоззрению. Она неопределенно пометалась по комнате, как мотылек, потом отвела Тима на кухню, и оттуда донеслось ее предупреждение: «Энни это не поддержит».

Пауза, потом Тим внезапно заорал:

– Пусть Энни оставит сраную карту себе, если ей так хочется. Зато мы получим все остальное.

Таксист рассмеялся и попытался поймать взгляд Шоу.

– «Пусть *оставит* сраную карту себе», – передразнил он.

Шоу, смущенный точностью пародии, отвернулся и уставился во французские окна. На улице под проливным дождем ожили строительные галогенные лампы, и в их внезапном актиниевом свете в окружении завалов из инструментов и стройматериалов предстал пруд в саду Хелен. Через конусы света плыли выхлопные газы. На газоне заурчал миниатюрный экскаватор JCB, делая внезапные дерганые развороты, пока три размытые плечистые фигуры в спецовках-дождевиках и защитных очках собирали и подключали гидромолот. Они казались неповоротливыми и неумелыми. После торопливого разговора, во время которого на Шоу не обращали внимания, Тим с таксистом отправились им на помощь: впятером они начали выравнивать окружение пруда. Когда это оказалось труднее, чем они думали, они стали дробить борта ковшом экскаватора. Осколки сыпались, но тонули как будто не сразу, словно попадали в более вязкую среду, чем вода.

В то же время в центре пруда что-то дико забилось. Шоу услышал, как Тим кричит: «Стойте! Стойте! Так не получится!» Экскаватор заглох, медленно накренился, вытянув ковш под странным углом. Поверхность пенилась и кипела; свет замигал, потемнел и погас, но Шоу успел заметить, как рабочие бросают инструменты и неуклюже лезут в воду, пока их подгоняют Тим с таксистом. Надолго повисла тишина, потом они ввалились обратно через французские окна и пробрались между кресел «Джон Льюис» с чем-то увесистым, завернутым в синий брезент. С него капало.

Хелен взирала на эти события из двери гостиной – с презрительным видом, но в целом помалкивая. Ее волосы были мокро зализаны назад, словно она тоже выходила в сад.

– Не стоит тебе с этим связываться, – сказала она Шоу.

– Да я даже не понимаю, что происходит, – сказал он.

– Тогда зачем приезжал?

На это у него ответа не было.

– У меня такое ощущение, будто ты надеешься сублимировать свои тревоги в кого-то другого, – сказал он. – Я тебя понимаю, особенно когда к тебе домой так вваливаются. – Потом он услышал, как добавил: – Я-то вообще живу без объяснений, если ты меня понимаешь.

Рабочие бросили свои попытки перенести то, что было в брезенте. Просто поволокли по коридору ко входной двери. Зацепили ковер. Опрокинули столик.

– Ну господи Иисусе, – сказала Хелен.

– Простите, – сказал один из мужчин.

Не зная, что еще делать, Шоу последовал за ними.

– Ты вообще не представляешь, что тут происходит? – крикнула вслед Хелен. – Тебе все равно? Просто сам себя спроси, зачем ты приехал!

– Я не знаю, – сказал Шоу больше себе, чем ей. – Я не знаю зачем.

Он стоял на пороге, глядя, как они справляются с брезентом и его содержимым. Сперва они пытались впихнуть предмет в багажник такси. В результате снова началось вялое сопротивление, брезент развернулся. Из него выпала рука, и ладонь сжималась и разжималась, такая белая, что в сочившемся из дома освещении выглядела зеленой. Шоу померещились тихие стоны. «Короче, все обернулось лучшим образом», – сказал таксист. Наконец после немалых усилий сверток сунули на заднее сиденье. К этому времени он уже раскрылся, как цветок Джорджии О'Киф. Что бы там ни было внутри, возня все скрывала, но еще было видно, как припадочно сжимается и разжимается ладонь. По порожку машины стекала вода, пока

дверцу не захлопнули.

Рабочие побрели обратно в сад; один, проходя мимо Шоу, говорил: «Я бы начал заново. Всю партию – с нуля». Тем временем таксист, который после своего участия в транспортировке остался на заднем сиденье, согнувшись в три погибели, теперь перелез вперед и завел двигатель. Тим сел к нему. Они посмотрели на Шоу, но в то же время и сквозь него. Шоу стоял и смотрел, как уезжает «Тойота». Потом зашел в дом и спросил Хелен, не подбросит ли она до Вулверхэмптона.

– На такси приехал, – заметила она, – на такси и вали.

Потом добавила:

– Хотелось бы знать, во сколько обойдется ремонт пруда.

14
Маленький пловец

После этого неделю-другую было трудно придумать, что сказать. Когда Шоу приезжал в офис по утрам, с реки нитями поднимался туман. Какое-то время Шоу сидел и наблюдал, как солнце разгоняет дымку, пока сам выпутывался из снов предыдущей ночи. Тим приезжал позже, если вообще приезжал. Разговор с ним, если Тим появлялся, был расплывчатым, трудно начинался и трудно заканчивался. Тим больше обычного казался чем-то занятым. Шоу, которому не терпелось узнать, что случилось той ночью в Кинвере, не находил повода спросить. Не хотелось показывать интерес. С каждым днем становилось все труднее, пока на вторую неделю он уже вообще не мог поднять эту тему. Пребывая в замешательстве и сомнениях, он пропустил одну встречу с Энни Суонн; потом вторую. Тим не возражал.

Пришел и ушел День мертвых Святой Маргариты, празднования ознаменовали середину лета – бремя жары и влажности для города. В доме 17 по Уорф-Террас было тише обычного, особенно по ночам. Непредсказуемо сменялись циклы бессонницы – Шоу либо высыпался, либо вообще не засыпал. Ему снились доримские ландшафты у стечения Темзы и Брент, где над межприливными илистыми отмелями, кишащими пиявками, и над коварными ольховыми топями разносился гулкий голос: «Те невесты ив снова здесь». Голос был его собственный. В три утра он ловил себя на том, что включает без звука «Ночные ходы» – снова и снова пересматривает второй акт, пытаясь в точности определить момент, когда частный детектив Гарри Мосби в исполнении Джина Хэкмена не замечает, что стал функцией чужих планов. Либо сидел у раскрытого окна, прислушиваясь, есть ли движение в соседней комнате, и глядя на свои руки.

Однажды утром в «Эрл оф Марч» он завел маленького пластмассового пловца из дома Энни Суонн и бросил в «Лондон Прайд», где тот покачивался и дребезжал вдоль гладкого, но неумолимого изгиба стакана.

– Ну и что об этом скажешь? – спросил он барменшу.

– Да ничего, – ответила она. Об этом ей сказать было нечего.

Шоу выловил пловца и поднял, пока его ручки энергично вращались в воздухе.

– Утром в ванной работал лучше, – признал он.

Барменша протирала стаканы.

– Какая гадость, – сказала она. – Тебе же эту пинту еще пить.

Одиннадцать утра, и река оголилась до ила, слабо переливающегося тут и там, словно из-под него что-то просачивалось. По бечевнику носились собаки. Через пыль на неровный паркет косо падали солнечные лучи. Стоял сильный, но вполне приятный запах жареного во фритюре стейка и вчерашнего пива. В дальнем углу мужик завел разговор с двумя пожилыми дамами за соседним столиком. «Я езжу за рыбой в Гастингс, – услышал его Шоу. – Потому что знаю: у них всегда найдется свежачок. Я езжу рано, на весь день». Казалось, он доволен своей проницательностью. Обычно он уезжал на весь день, говорил он, из Ричмонда. Если приехать пораньше, всегда найдешь свежачок. «Как интересно, а мы из Брайтона», – быстро ответила одна из женщин – возможно, чтобы прекратить дальнейшие повторы; все трое посмеялись над этим совпадением – частичным, расплывчатым, но все же почему-то совершенно уместным. Открыли пачку чипсов и положили между собой.

Когда Шоу встряхнул пловца, механизм как будто встал, потом снова заработал. С ручек и ножек на свету разлетелись золоченые капли «Лондон Прайда».

– Не хочешь взять для детей? – предложил он.

– Нет, – сказала барменша. – Мне не нравится, и моим детям не понравится.

– Всем детям нравятся игрушки, – сказал Шоу.

Они вдвоем смотрели, как у пловца кончается завод.

Позже он направился в Кингстон по бечевнику, потом обратно – через королевский парк, чтобы завершить день в «Айдл Аур» – безлюдном пабе, спрятанном в венозном лабиринте переулков, где Литл-Челси теряет уверенность и безжалостно поглощается окраиной Барнса. Но вместо этого Шоу оказался на Саус-Уорпл-вэй, недалеко от дома медиума.

Старый погост стоял пустым и мрачным. Окружающие дома – включая дом Энни Суонн – выглядели необитаемо. Ближе и выше обычного. Они словно кренились к кладбищу. Ни одно окно не горело. На его глазах с парковки рядом с мусорными баками выбрался «БМВ» и почти бесшумно уехал прочь. Тогда, словно освобожденная, через дорогу юркнула лисица, через перила – на кладбище. Шоу последовал за ней. На кладбище он не мог разглядеть ничего, кроме могил. Скамей. Урн. Потом – яркий огонек, забрезживший среди листвы у основания забора психиатрической больницы, где он впервые встретился с Тимом Суонном.

– Тим! – позвал он. – Это ты?

Пока он пробирался между покосившимися надгробиями,

тени сгущались. Там что-то происходило, в деревьях, в грязи, среди выброшенных упаковок: когда Шоу побежал, свет закрыл гротескный силуэт – вроде бы человеческий, худой, но неуклюжий; сперва он возбужденно вскочил на ноги, потом уставился куда-то за плечо, словно из глубины кладбища на него что-то надвигалось.

– Это правда ты! – воскликнул Шоу, и потом: – Тим, это я!

Суонн поколебался, затем с жестом человека, который не может задержаться поболтать, потому что ему еще надо забрать одежду из химчистки, побрел к выходу. За ним по кладбищу беззвучно струилась череда силуэтов.

Даже в тусклом оранжевом свете Шоу узнал в них клиентов Энни – завсегдатаев массовых сеансов. Казалось, они не меньше Шоу удивлены, что находятся здесь. Спотыкаясь о своих собак, сталкиваясь друг с другом, хлопоча и размахивая руками, пока за спинами развевались поношенные куртки «Барбор», они окружали Тима Суонна. У ворот он от них улизнул, спасся, помчался за угол у мусорных баков. Бежал он неспортивно, напряженно изогнув тело, откинув голову назад и вбок; под мышкой он сжимал длинный пластмассовый тубус – в которых перевозят плакаты или архитектурные чертежи. Ночь была такой тихой, что Шоу даже со своего места слышал, как он пыхтит. Клиенты Энни – неловкие, но удивительно быстрые, – гнали его по пустой улице, через железную дорогу и мимо «Айдл Аура», до самого края парка Барнс-Коммон, простиравшегося на восток, с бесцветными в радиевом свечении песчаными пустырями и большими немыми домами. Там они его, похоже, потеряли. Из-за этого поднялись крики – какие-то музыкальные, нервные и, похоже, без слов. После чего они бегали по кривым тропинкам, заглядывали за каштаны и под кусты дрока и терновника; а их собаки – молчаливые и энергичные, с телами вытянутыми и змеиными в тенях, – обыскивали по квадратам лес вдоль Стейшен-роуд.

Через несколько минут к поискам присоединилась вторая группа, прибывая по одному и по двое со стороны Патни. Они были на поколение моложе завсегдатаев сеанса, социо-экономически напоминая соседей Шоу по дому 17 на Уорф-Террас, – соответственно, и действовали активнее. В состоянии покоя на их лицах было выражение людей, которые слишком рано в жизни стали психологами в компаниях или риелторами. Они подъезжали на велосипедах с названиями вроде «Вендж Элит»; женщины были одеты в повседневную одежду спортивного стиля – приталенные жилеты с неброскими светоотражателями. Все снарядились мощными налобными диодными фонарями. Сложно

назвать эти две партии «противоположными», думал позже Шоу. Если различия между ними и были, это не мешало компаниям хорошо знать друг друга. Они что-то обсуждали, и тема обсуждения тоже была им знакома. Они решали, что сделают с Тимом Суонном, если его поймают. К тому моменту их набралось уже двадцать-тридцать человек – толпились на щебеночной тропинке вдоль старых теннисных кортов. В зябком воздухе повышались и опадали их голоса: с одной стороны – напористые, но все-таки не совсем уверенные, с другой – вежливые и переливчатые.

– Право, сейчас самое лучшее…

– Прошу прощения, но, думаю, вы согласитесь…

Казалось, с настолько простыми и твердыми переговорами все их разногласия будут решены. Но тут без предупреждения появилась третья компания – пожилые грубоватые пролетарии с акцентом Мидленда, в желтых касках и светоотражающих спецовках. Завязалась свирепая драка. Кого-то толкнули на землю; кто-то повалился сверху. Вскоре все уже неумело царапали друг другу щеки, которые растягивались, как пластилин, и отрывались комками. Шоу замутило от этого зрелища. Он не понимал, что видит. Поднимались и падали руки. На миг ему померещился среди них таксист из Кинвера. Посреди толчеи возился поразительно жирный мужик, топтал всех, кому не повезло упасть, новенькими кроссовками «Мидзуно» размером с баржи, пока у его ног энергично лаяли две собаки. От основной массы откалывались стычки поменьше, сперва бодрые, потом рассасывающиеся по парку в направлении жилого захолустья на противоположной стороне Рокс-лейн. «Подь сюда, мужики! – раздался чистый тенор. – Подь сюда живо!» Расстояние еще больше искажало лица драчунов, их странности преувеличивались. Чем дольше шла драка, тем она, казалось, становится тише и вот уже напоминала старую гравюру, эстетический стиль которой навсегда отделяет современного зрителя от изначального смысла сцены. Шоу почему-то не верилось, что происходит что-то плохое: все это казалось совершенно нормальным для жизни Тима Суонна – как мокрая сумка рыбы или голос, услышанный на поезде в Мидленд: непознаваемое, но в то же время каким-то образом совершенно обыденное, даже по-своему заурядное. Шоу какое-то время постоял на опушке, не зная, что делать дальше, глядя, как разные банды гоняются в парке друг за другом по двое-трое; затем, раз Тима уже и след простыл, Шоу развернулся и пошел домой.

Ночью он был уверен, что опять их слышал, тихо возившихся на улице. Но выглянув в окно, никого не увидел – только

поблескивала на противоположном тротуаре мелкая морось.

Дождливый день в доме престарелых рядом с A316. Мать Шоу сидела и смотрела свою любимую коллекцию дисков Аттенборо. Выглядела она хорошо. Шоу занял себя пролистыванием фотоальбомов, пока снаружи по коридору туда-сюда толкали перед собой пустые инвалидные коляски гости других пациентов – из двух, а иногда и трех поколений, – чтобы безмолвно сидеть всей семьей под морскими пейзажами в общей комнате.

– Но как ты себя чувствуешь на самом деле? – спросил он.

Она подняла левую руку, недолго разглядывала ее тыльную сторону; затем, наклонив так, чтобы предвечерний свет выделил ландшафт из дюн и полос, увиденный с высоты в несколько миль, показала ему.

– А ты как думаешь? – сказала она. И показывая что-то на экране, который ему было не видно: – Ты посмотри! Никогда не надоедает!

– Я имею в виду, в себе, – попытался объяснить Шоу. – Как ты себя чувствуешь в себе.

Вдобавок к фотоальбомам были еще снимки в двух обувных коробках, которым не нашлось места. Никто не знал – то есть ни Шоу, ни его мать, – кто их сделал или когда. А может, эти снимки просто выбились из ритма ее жизни. Некоторые лежали в старых желтых кодаковских конвертах; еще одну популяцию, менявшуюся в зависимости от того или иного требования памяти и сантиментов, она заворачивала в шарф «батик». В тот день Шоу нашел среди последних сцену на пляже, снятую в одно из отсутствий матери. На передержанной фотографии, асимметрично разделенной разглаженным сгибом, была загибающаяся полоса песка, несколько низких, как будто уставших волн и перила, на которые облокотился мальчик – кажется, он сам.

В свои первые годы Шоу жил с двоюродными бабками Роуз и Мейбл. Они не включали дома свет. Дом был с террасами, вместительный, недалеко от набережной, с узким, как переулок, садом и с овощными грядками, обложенными кирпичами ячменно-сахарного цвета. Из тех времен Шоу помнил только то, что он с матерью наблюдал, как в море очень медленно падают снежинки размером с пенни; позже, в ее кочевые периоды, его снова привозили к теткам, когда на несколько месяцев, когда – на целый год: веселый мальчишка, вечно бегал на посылках, вечно приветливый, вечно изучал, как они живут.

Роуз и Мейбл были большими и мягкими женщинами,

Свидетельницами Иеговы, постоянно предлагали почитать «Сторожевую башню», когда Шоу возвращался домой из школы. Он читал о женщине с дыркой в щеке от «сигаретного рака». Читал о мужчине, выжившем с пулей в мозге. Другому мужчине во время операции проделали окошко в желудке. И какие выводы должен был сделать Шоу? Все они не казались ему настоящими людьми. Имеется в виду, их исцелили Свидетели? Или это просто примеры какого-то образа жизни, который он не понимал? Переворачивая страницы, он чувствовал, как время тянется с липкой медлительностью. Пил чай на кухне, где из неглубокой древней раковины пахло карболкой. Всякий раз, выходя из дома к морю, он испытывал облегчение. В день, когда сняли фотографию, на западе внезапно расступились облака, помнил он.

Два часа дня, воскресенье посреди декабря. Шоу уставился на песок со стоянки на набережной у паба «Лайфботман». От муниципальных скамеек отражался мокрый свет. Вокруг сновали собаки. Опирались друг на друга отреставрированные мотоциклы шестидесятых в ряду, с тусклыми от капель алюминиевыми бензобаками. Спешившиеся байкеры сгрудились вокруг пацана, который не мог завестись. Пацан стоял с пустым и решительным выражением на лице. Его густой чуб был покрашен в ярко-белый, а остальные волосы пострижены коротко, чуть ли не под ноль: пока он подпрыгивал на стартере, этот светлый вымпел болтался и хлопал вверх-вниз. Из запотевшего окна паба в диком возбуждении наблюдал младенец, хохоча и корча не поддающиеся расшифровке рожи. Слышалось, как кто-то в баре кричит: «Ну ты сам знаешь эти прибрежные города». В конце концов двигатель завелся. Открыв дроссель, пацан резко петлял туда-сюда по пляжу, прыская из-под колес фонтанчиками песка.

Мне хотелось быть другом этого пацана, думал Шоу, пацана с такой прической, которого не надо долго уговаривать заскочить на заднее сиденье мотоцикла, чтобы напиться рома с колой и хохотать всю дорогу до Лондона по темноте, пока трясущаяся фара выхватывает впереди изгиб дороги, лису в кустах, дорожный знак под странным углом. Но это уже было невозможно – я на этой фотографии в бордовом школьном блейзере и серых штанах стою на береговой насыпи и смотрю вниз. Перед этим мной проходит жизнь – и позади этого меня, в обшарпанных погодой коттеджах, магазинах здорового питания, припаркованных «Фордах», – но только почему-то не в мальчике, хоть он всегда такой приветливый, всегда такой предупредительный и веселый. Он наблюдает и слушает. В «Лайфботмане» бармен отмечает время ударами в реплику корабельного колокола над бутылками.

Галки у моря клюют линию прибоя, на вид острую и блестящую. Неподвижно и несчастно стоят хамоватые молодые чайки, пока наконец одна не найдет – вымытую на берег, среди поблекших банок «Фанты» и трубчатых водорослей – человеческую руку, такую белую, что кажется зеленой.

Эту руку они расклевывают, сперва отвлеченно и без особой надежды, часто отходя после пары попыток, только чтобы вернуться из-за отчаяния или скуки; затем – с растущей энергией.

Мальчишка на мотоцикле, похоже, тоже что-то нашел, чем теперь и размахивает. Вскоре после этого из паба выбегают пятнадцать-двадцать человек – в основном среднего или преклонного возраста, – оторвавшись от воскресного обеда. Внутри уже остывают и застывают их жаркое и закрытые пироги. Волна то нахлынет, то отхлынет. Пока еще никто словно не понимает, что видит перед собой. Когда поймут, то все сбегутся туда. Но на фотографии этого уже нет.

Шоу сидел в комнате матери, подставляя фотографию под свет так же, как она подставила руку. Дело шло к вечеру. В доме престарелых теперь всюду слышались тележки с чаем. Прибрежные городки – это городки самоубийств, подумал он: хотя настоящее самоубийство в них совершают редко – там люди скорее блекнут, меняют ценности, постепенно переходят в менее энергичное состояние. Его матери эта метаморфоза всегда казалась своей противоположностью: счастливым случаем, неожиданно продленными каникулами, шансом на новую жизнь – хотя, если оглянуться назад, то каждый новый переезд предстанет не столько сознательным выбором, сколько потерей концентрации. Теперь он подошел к матери и показал фотографию.

– Помнишь?

– Меня это сейчас не волнует, Микки, – сказала она. Одарила его своей самой яркой улыбкой. – Что бы это ни было.

– Я не Микки, – сказал Шоу. Вышел из комнаты, отошел по коридору чуть дальше и крикнул: – Я никакой не долбаный Микки! – Потом вернулся, взял одну из обувных коробок и вывалил ей на колени. – Ты просила их принести, – напомнил он. По ее юбке рассыпались снимки всех размеров, сползли на пол к ногам – их соотношение сторон и стили четко обозначали десятилетие, когда они увидели свет. – Каждый раз, когда я к тебе прихожу, мне приходится просить, чтобы их выдали. Так что прояви хоть какой-то интерес, – и утешительным тоном добавил: – Кажется, на этой – я.

– Да кому интересно такое старье?

– Ты.

Она оттолкнула его руку.

– Я тут смотрю телевизор.

– Тебя-то там, конечно, не было, – сказал Шоу, – поэтому не знаю, кто снимал. Тебя никогда не было.

– Я терпеть не могла, когда меня удерживают на месте.

– И это твое решение? Найти семью, бросить, найти другую?

– Я хотя бы брала тебя с собой.

– Никуда ты меня не брала.

Она сделала телевизор громче и перекричала звук:

– Я всегда брала тебя с собой. Я бы ни за что не бросила тебя умирать в дыре вроде этой.

– Твою мать, – сказал Шоу. – Твою мать.

Он недолго таращился на мир Дэвида Аттенборо, где на горке гуано в пещере на Борнео кишели миллионы тараканов, потом ушел.

Тетя Роуз скончалась первой. Оказалось, Свидетельницей Иеговы была только она. Ее похороны – нерелигиозные – по требованию Мейбл провели в крематории в паре километров от города, у развязки, где магистраль изгибалась к Лондону. Мейбл – с лицом обмякшим и напудренным, словно сделанным из ткани или пластмассы (по крайней мере точно не из плоти, слишком разочарованное или мутное, чтобы быть плотью), – сидела на скамье на галерке, громко шептала. Музыку заело, та двадцать минут повторялась, пока конвейер не ожил и гроб ее сестры не исчез за велюровой шторкой.

– С ней вечно были споры, – сказала Мейбл Шоу перед тем, как они поехали домой. – Споры-споры-споры.

Во время службы она куда-то ушла. После этого ее часто было трудно найти, даже когда она находилась рядом. Теперь Шоу придется приносить пользу по дому, сказала она; и, хотя уже скоро мать забрала его от моря и он больше не видел Мейбл, он все же успел сложить под лестницу журналы «Сторожевая башня», перевязанные бечевкой. «Никогда не одобряла эту секту, – сказала Мейбл, – и зря она говорила, будто я одобряю». Шоу помнил тяжелый дух талька; медленное, вязкое тиканье будильника в ночи. В тринадцать лет – может, в четырнадцать, – он чувствовал себя так, словно гостиная со всей ее бурой мебелью, шенильной скатертью и зеленым ковром, если не быть осторожным, поглотит его – умного мальчишку, который все же попался в ловушку и впредь будет хозяином дома. Дождливыми вечерами он прятался в общественных туалетах, лишь бы туда не возвращаться.

Для Шоу стычка в Барнс-Коммон выглядела не просто «как во сне» – какой-то простой, но пугающей последовательностью действий, какой-то застывшей причудой света, – а как в таком сне, содержание которого не совсем совпадает с ощущениями по пробуждении. Во сне чувствуешь одно, проснувшись – другое. Во сне ты виноват в каком-то тайном сексуальном проступке; проснувшись – и потом все утро – чувствуешь растущее беспокойство то ли из-за забытого дела, то ли из-за неотправленного имейла.

Тим на этот счет не распространялся. На следующий день он пришел в офис как ни в чем не бывало, причем, хотя чем-то озабоченный и погруженный в себя, с виду невредимый, не считая воспаленных царапин на запястьях и синяка сбоку на шее, из-за которого ему иногда было трудно поворачивать голову. Предположительно, он всю ночь лазил по дроку или терновнику, пока не убедился, что все преследователи – распределившись так, чтобы больше не было территориальных трений, – прекратили драку, распутали поводки собак и вернулись по домам. Он пытался выкрасть карту? Этот инцидент оказалось обсудить не проще, чем события в кинверском доме. Позже Шоу сам удивится тому, насколько эта фрустрация распаляла его гнев.

Бизнес тем временем не шел. Телефонные запросы в этот месяц сократились; все остальное вообще прекратилось. Они рассылали «Путешествия наших генов» с темпом одно издание в неделю, часто – реже. Тим словно потерял к этому интерес, хотя порой открывал браузер, заходил на «Дом Воды» и по несколько минут таращился в экран, словно ждал новостей. В спонтанной попытке завладеть его вниманием Шоу сказал:

– Я прочитал твою книгу.

Это вызвало слабую улыбку, словно «Путешествия наших генов» напомнили Тиму о какой-то их общей выходке в подростковом возрасте.

– И что думаешь?

– Мне в целом понравилось, – сказал Шоу.

– Убедительно, да? Доказательства?

– Не знаю, можно ли назвать их убедительными.

– Ну, – сказал Тим.

– Я заметил, карта пропала.

– Ты про какую?

– Про твою, – сказал Шоу. – Про мировую карту. Карту мира.

– А, эта. Да, есть такое. По крайней мере, пока. И не думаю, что теперь нам понадобятся результаты сеансов.

– Но…

Тим покачал головой.

– По правде сказать, это все равно тупик. Ты разве сам не почувствовал? Я точно почувствовал. – Он вдруг почесал левое запястье. – От Энни есть польза, – заключил он, – и я это первый признаю. Но спиритуализм – далеко не самая важная ее польза. – Он усмехнулся и добавил: – Из-за карты всегда шла возня.

Шоу был слишком подавлен депрессией, чтобы выяснять, что за всем этим скрывается. Его работу и так работой было не назвать, даже если учесть отчеты о сеансах. Шоу сказал, что не понимает, что тогда остается, если их прекратить.

Тим выслушал это мнение молча, потом предложил:

– Тюремные библиотеки – знаешь, готов поспорить, что это оживленный рынок. Почему бы их не прощупать?

Шоу сомневался. В будни, неспособный усидеть на месте и не зная, чем заняться, он мог полагаться только на внутренние ресурсы, а они оказались жиже, чем он помнил. Он участил визиты в дом престарелых, пока мать, и так взволнованная тем случаем с фотографиями, сперва не попросила администрацию провести с ним разговор, а потом вовсе отказалась его видеть, только оставила для него записку у персонала. «Миссис Шоу очень просила, чтобы вы это прочитали», – сказали они, вручая аккуратно сложенный листок, где она написала: «Больше не хочу, чтобы ты со мной разговаривал». Он уставился на эти слова, потом в окно – на машины, проезжающие по A316.

– Понимаю, – сказал он, хотя ничего не понимал.

На работе он следил за апдейтами на любимых порносайтах или развлекался тем, что пытался взломать замок задней двери. Скачивал электронные книги, большинство из которых оказались еще большим бредом, чем «Путешествия наших генов». Дома равнодушно перебирал каталог Пауэлла и Прессбургера или спал. Однажды ранним вечером остановился на «Черном нарциссе», после чего рассчитывал поужинать в девять пирогом в «Эрл оф Марч», когда зазвонил домашний телефон. Это была Виктория Найман.

– Здравствуй, незнакомец, – сказала она. – Что с тобой происходит?

15
Затонувшая земля поднимается вновь

Шоу ни с кем не разговаривал с прошлого дня.

Он прочистил горло. Вдруг увидел себя со стороны; поразился, что узнал ее голос; смутился, как громко звучит его присутствие в комнате.

– А с *тобой* что происходит? – сумел выдавить он.

Виктория думала над ответом дольше, чем он ожидал.

– Не особо что, – сказала она наконец. Затем, словно рассматривая какой-то полузнакомый предмет на расстоянии: – У меня тихая жизнь, хоть и странноватая, – и набирая темпы: – Хотя я сегодня где только не была. Я забыла, как въезжать на М40 и где с него съезжать. Теперь я припарковалась в неположенном месте у ресторана к северу от Брук-Грина. Здесь раньше была дорогая кафешка.

Шоу снова прочистил горло.

– Значит, ты заблудилась?

– Нет-нет. Я же говорю. – Она повысила голос. – Брук-Грин. – Опять пауза. Затем: – Можно где-нибудь встретиться! – А когда он не ответил сразу: – В смысле, это, конечно, необязательно.

– Нет-нет, – сказал Шоу. – Это отлично. Это будет отлично.

Как только они решили где и повесили трубки, он обнаружил, что во время разговора подошел с трубкой к окну и смотрит на Уорф-Террас, на пивоварню. Слышалось, как из открытых окон проезжающего внедорожника выпадают огромные деревянные колоды музыки. На реке тренер по гребле выкрикивала в мегафон указания своей четверке. На Мортлейк-роуд усиливалось движение в сторону Барнса, переезд Уайт-Харт то сдерживал, то отпускал, то сдерживал, то отпускал вечерние испражнения в виде «Рейнджроверов» и «Ауди». Затем Шоу вернул трубку на место и уставился на нее: кремовая пластмасса, тихо стареющая до цвета сигаретной смолы. В доме 17 по Уорф-Террас настал час, когда слушаешь радио соседей сверху и снизу: из закрытых комнат доносятся жизнерадостные, до жути профессиональные голоса, словно все пригласили на ужин новостного ведущего.

Он встретился с Викторией перед рестораном «Ла Белль Елен», встроенным в ветреную площадь на чизикской стороне реки. Когда он приехал, она уже стояла там, прислонившись к речной насыпи и с сомнением глядя на дорогие плавучие дома,

сквозь чьи стеклянные неомодернистские надстройки во время прилива можно было видеть, как бликует на волнах солнце. Они рассмотрели друг друга. Она обняла его отчаянней, чем он ожидал. «Здравствуй, незнакомец!» – сказала она. На ней были длинный голубой комбинезон с эластичным поясом с пряжкой-застежкой, в руках – целлофановый пакет из «Сейнсбери». Прическа – высокий фейд, покрашенный в цвет «желтый „Дейтона“» в процессе, который она вскоре распишет ему в деталях.

– Боже мой, – сказал он.

– Как с языка снял. – Она отстранилась от него. – Но ты такой *худой!*

– Что-то заработался, – скромно ответил Шоу.

«Ла Белль Елен» только начал заполняться. Внутри Виктория впала в задумчивость.

– Помню, тебе всегда здесь нравилось – сказала она, словно ее что-то беспокоило, но не хотелось портить вечер. Вместо этого она съела две-три оливки и хлеб; потом выпила полбокала «Кампари» с содовой, это ее вроде бы взбодрило.

– Пожалуй, возьму краба в мягком панцире и тартар из лосося. О, и смотри. Тортильони с жареным манури и трюфельным соусом! – Она откинулась на спинку. Вздохнула. – Иногда я скучаю по Лондону, – призналась она. Неожиданно нагнулась и порылась в сумке из супермаркета, достала прямоугольный сверток, завернутый в искусное подражание коричневой бумаге.

– Чуть не забыла, – сказала она. – Я тебе кое-что привезла!

Сняв упаковку, Шоу с удивлением обнаружил старую детскую книжку «Дети воды» – с мятыми углами, запахом сырости и пыли, словно ее хранили на чердаке; но в остальном – в хорошем состоянии.

– Это книга моей матери, – сказала Виктория.

Шоу открыл наугад и прочитал:

> Ах, какая кукла у меня была,
> Так она румяна, так она мила.
> Лучше всех на свете куколка моя.
> Но однажды куклу потеряла я.
> Видно, позабыла где-то на лугу,
> Отыскать никак я куклу не могу[13].

– Мило, – сказал он. – Спасибо.

Тут она рассмеялась, словно ожидала какого-то другого ответа, и отвернулась.

– Не самый мой любимый писатель, Чарльз Кингсли, – призналась она. – Но мне показалось, тебе понравится. В смысле, как прикол. Эту книжку многие помнят из детства, да?

Шоу – который из детства помнил только сборники сказок Мейбл Люси Аттвелл, – не знал, что ответить. Прочистил горло.

– Мне здесь нравятся картинки, – сказал он и еще раз поблагодарил.

– Давай поедим! Я вправду проголодалась.

– Итак. Как жизнь? – спросил он, когда они сделали заказ.

– Ну, сделала очень интересную новую прическу – хотя, если честно, кто сейчас не, – и вот я здесь с тобой. – Она подлила ему из маленькой бутылки «Флери», но сама почти не пила. – Причем такое ощущение, что заодно еще и со всеми в мире. Здесь всегда было так людно?

Когда он не ответил сразу, она продолжила:

– В общем, это не столько прическа, сколько личное сочинение на тему причесок.

– Под «жизнью» я имел в виду жизнь в общем, – заметил он.

– О боже, давай просто поедим и не будем в это углубляться. Тебе вкусно?

– Телятина очень хорошая.

– Всегда любила эту комнату, – сказала позже Виктория.

Было десять часов, молока дома не нашлось. Шоу с трудом пытался открыть окно. Ночь за ночью рама разбухала от речной сырости.

– Тебе не кажется, что здесь пахнет? – спросил он.

Если посчитать все комнаты, где он жил со времен переезда в Лондон, получалось десять; это число на фоне его опыта жизни в этих комнатах, его воспоминаний о комнатах и воздухе в них, выглядело маловатым. Было ощущение, будто жизнь задвинула его намного дальше в двухзначные цифры. Может, во время его кризиса и правда задвинула: по ночам, закрывая глаза, он иногда видел комнаты в Уэмбли, Южном Тоттенхэме и Арчуэе – в таких местах, где он вроде бы не жил, необлагороженных и темных, обязательно с болтающимися на петлях дверями, обязательно с застрявшими в открытом или закрытом положении окнами – комнаты развивались и деградировали вокруг него, как неудавшиеся формы жизни. Он сам не знал, что имел этим в виду, – разве что они напоминали временные чехлики, которые сварганила какая-то никчемная личинка в русле ручья. Из них дом 17 по Уорф-стрит, на взгляд Шоу, был самым неумелым чехликом.

– Ты была здесь только раз, – напомнил он.

Но Виктория уже перешла на новую тему.

– А, и твоя *рыбка!* – воскликнула она, словно только сейчас вспомнила, что ее дарила. – Твоя блестящая рыбка! – Рыбка в благородном молчании уставилась на Викторию выпученными ляписовыми глазками. Сейчас Шоу заметил, что атмосфера Темзы взяла свое: губы потускнели, перуанские серебряные бока потемнели от оксидов, тело сгибалось уже не так легко.

– Как вы вдвоем поживаете? – поинтересовалась Виктория. – Все еще хорошие друзья?

Шоу сдался и прекратил дергать окно.

– По-моему, у меня нечего выпить, – сказал он.

Она аккуратно вернула рыбку на полку.

– Да я и не пью. Никогда особо не пила – только с тобой, потому что паниковала из-за твоей паники. – Она подошла к окну, бросила взгляд на Уорф-Террас – ее машина еще на месте, – потом без предупреждения обняла его.

– А ты все еще в панике? – Потом отпустила и отвернулась. – Мое женское чутье подсказывает, что да.

– Я могу за чем-нибудь сбегать, – предложил Шоу.

Вместо этого они пили быстрорастворимый кофе и сидели в разных концах кровати, словно незнакомцы. Весь оставшийся вечер ему казалось, будто она скрывает свои ожидания.

– Ты ни разу не ответил на мои письма, – произнесла она. Не успел он придумать, что сказать, как она забрала у него чашку и толкнула его на кровать. – Ты их наверняка даже не читал. Ты *столько всего* пропустил. У меня там в провинции настоящие приключения. – Она стала выбираться из комбинезона. – В чем наш секрет? У таких, как мы? Как у нас получается закрыть все двери наглухо? Даже не пытайся отвечать. Мы оба не понимаем, что я несу.

Шоу узнал момент слабости и спросил:

– Ты правда видела труп в тринадцать лет?

– Я так раньше просто говорила, чтобы привлечь внимание.

– И работало?

Она пожала плечами.

– Ой, да даже не знаю.

И потом:

– С тобой вот сработало.

Около двух часов ночи она сказала:

– Теперь мы оба худые. Как там у тебя с матерью?

Мать доводила его до белого каления, но это не новости.

– Теперь она со мной не разговаривает.

– Предложить помириться должен ты, знаешь ли.

– Не могу придумать на это короткий ответ.

Она рассмеялась.

– Можешь. Просто не хочешь рисковать и расстраивать меня, когда все так хорошо.

Потом, после паузы:

– И что за работа тебя так утомляет?

Он ответил, что просто сидит за компьютером.

– Всего пара часов за компьютером и перекладывания бумажек.

И командировки.

– Хотя и это – громко сказано.

Но по-своему приносит удовольствие, да еще и прикольно, потому что офис – на барже.

– Еще надо много читать, – сказал он. – В основном – научные штуки в интернете.

В общем, каждое утро и вечер он прогуливается по бечевнику; а с палубы видно аж до самого моста Кью.

– Ты бы как-нибудь зашла, – предложил он. – Проведу для тебя экскурсию. Там очень удобно в плане речных пабов.

Он понимал, что ничего толком ей не рассказывает – и она ему, скорее всего, тоже.

– В последнее время мне воды хватает за глаза, – ответила она. – Благодарю покорно.

Виктория лениво прошлась через лестничную площадку в туалет, и он слышал, как она там писает, ходит, включает воду. Все остальные в доме 17 по Уорф-Террас тоже ее слышат, думал он. Вернулась она уже не в кровать, а к окну, без труда подняла раму и высунулась как можно дальше.

– Все время кажется, что идет дождь, – пожаловалась она. – И здесь всегда такое голубоватое освещение? – Потом: – О боже, небось вся улица видит мои сиськи.

Она нырнула обратно в комнату, передернулась.

– Почему ты до сих пор живешь здесь, если уже нашел работу?

– Да это не работа, а одно название, – признался он. – Как у всех в наше время.

После этого Виктория никак не могла найти себе место и стала обходить комнату. Она ее как будто совсем не помнила. Рассматривала его вещи: дешевые куртки и дорогие сумки для ноутбуков, наваленные кучей за дверью; репродукция открыточного формата «Солнечное затмение в Венеции, 6 июля 1842 года» Ипполито Каффи, которую он приклеил на стену пару месяцев назад, в равной степени озадаченный и увлеченный разношерстной толпой, собравшейся у Гранд-канала, и

таинственно освещенным квадратом неба. Время от времени Виктория что-нибудь поднимала, показывала ему и спрашивала, что это, а он отвечал: «Заводная игрушка», или «Сам не знаю, купил в Бирмингеме». Она открыла гардероб, закрыла.

– Никогда не храню там одежду, – объяснил Шоу. – Там воняет штукой от моли.

Одно из самых пустых утешений, что он произносил в жизни.

К этому времени он уже и сам был на ногах. Хотелось вцепиться в нее, задержать, задержать на миг жизни их обоих, почему – он и сам не понимал; но в итоге просто стоял где стоял.

– Тебе стыдно. – Она подошла и быстро его чмокнула. – Не волнуйся, всем стыдно. Нам теперь всем стыдно. Но любая работа есть работа.

Тут из соседней комнаты раздался оглушительный грохот, словно кто-то опрокинул гору чемоданов. Грохот перетек в отдельный стук и скрежет, словно что-то волочили по полу без ковра; следом – странное рассеянное бормотание, внезапно прервавшееся. За стеной зазвонил телефон, и незнакомый Шоу голос отчетливо произнес: «Это нам не поможет. Стоит отложить хотя бы до следующего месяца». Недолгая пауза, затем: «Нет», – и стук трубки на аппарате. Кто-то прошел по комнате и быстро спустился по лестнице. От этажа к этажу само собой включалось и выключалось освещение; хлопнула подъездная дверь, впустив густой дрожжевой дух с пивоварни; по Уорф-Террас в направлении Мортлейкского вокзала зазвучали шаги.

– О боже, – прошептала Виктория.

– Тут это обычное дело, – сказал Шоу.

Они стояли, не зная, как поступить. Шоу словно выбили из колеи, но, когда он вслух поинтересовался, что об этом думает Виктория, она ответила только: «Это ужасное место. Тебе правда надо переехать». Она коснулась его руки. Ему было странно, что они стоят тут голые, не зная, как реагировать на то, что случилось в чьей-то чужой жизни. Он чувствовал, что она хочет его утешить, но и что теперь для нее все стало отдаленнее, чем ему бы хотелось: она задумалась о чем-то своем. Но он простил бы это любому.

– Зачем ты приехала? – спросил он вдруг.

Этим он словно снял напряжение, потому что она рассмеялась и сказала:

– Ради секса, конечно. А ты как думал? – Потом: – Я хотела кое-что тебе рассказать.

– Что?

– О боже, кто же знает? – сказала она. Ее хлебом не корми, только дай махнуть на себя рукой. Такая у нее фишка. – Когда ты

– я, то даже непонятно, с чего начать, – пожаловалась она и обняла Шоу. – Теперь мне что-то холодно.

Перед самым рассветом Шоу слышал, как подъездная дверь снова открылась и стукнула об ограничитель. По лестнице взметнулся холодный воздух, за ним следом подъем начал вошедший – шаткий путь, украшенный отчетливым пыхтением и перемежаемый передышками. Через некоторое время на верхнем этаже смыли туалет, и дом 17 по Уорф-Террас снова затих. К этому времени Виктория уже отключилась и ничего не замечала. Шоу подумал, что она выглядит усталой даже во сне; с пергидрольными волосами, разбросанными по подушке, она казалась слегка опустошенной.

Пошел дождь. Смоченный воздух за окном пахнул весной – мусорки, частицы дизеля, что-то неопознаваемое от реки. Шоу тоже заснул и видел сон, как нашел комнату, где когда-то жил, – уже забытую, чистую и светлую, с современной мебелью: склад всего, о чем он забыл, что имел. Проснулся только поздним утром. Дождь, двигаясь на север на струе теплого воздуха с континента, осел над западом Лондона непроветриваемым шатром. Шоу задумался о том, что вчера ночью случилось по соседству. Сейчас четверг, подумал он. Виктория, как оказалось, уже уехала, оставив записку, полную романтичных сожалений и сложенную в подаренную книжку, как закладка.

«Мне все очень понравилось», – написала она. Если ему захочется, пусть приезжает в гости в Шропшир. Если у нее там что-то и есть, так это куча свободного места, и теперь, когда крышу починили, *пневмония ему не грозит*. «Ухаживай за матерью, – написала она дальше. – Она же за тобой ухаживала!» Потом уже менее определенно: «Рада, что у тебя осталась рыбка. Я сомневалась, что она тебе нравится».

И подпись, как во всех ее имейлах: «Твой друг Виктория».

И запоздалая мысль: «Ты отдаешь другим слишком много власти. Мы не знаем, что с ней делать». Это утверждение – врезанное в тонкую бумагу одной из любимых Шоу ручек «Мудзи», с дырками и разрывами в форме запятых как случайными акцентами, – его только запутало. «Не мне давать тебе советы, но вот что есть, то есть».

Первые главы «Детей воды», которые он пролистнул перед работой, только больше запутали. Он не помнил, чтобы читал это в детстве. Обнаружил, что его раздражает постоянное, но какое-то незаслуженное чувство вины маленького трубочиста.

В Брентфорде был отлив, лихтер Тима Суонна разлегся в грязи – в мелкой утрамбованной яме, форма которой совершенствовалась день за днем многие годы. В небе шли

брожения, словно там происходил неведомый химический процесс; скоро погода снова изменится, подумал Шоу. На отполированной дождем палубе он не торопился. Старался не выронить ключи, потому что спускаться в эту грязищу, чтобы их раскапывать, будет тяжелее всего, что он заставлял себя делать в жизни. В безопасности кабинета он обнаружил, что здесь до него уже кто-то побывал. Мокрые отпечатки пересекали пол, потоптались перед столом, словно пришедший заглянул в компьютер, и направлялись к боковой двери, откуда уже не возвращались. Шоу толкнул дверь, но она, как обычно, была накрепко заперта. Он рассмотрел отпечатки – большие, бесформенные, частично испарившиеся, – потом вышел из кабинета и осторожно его обходил, пока не уперся в планширь с речной стороны. Там действительно была дверь – фанерная, некрашеная, расслаивающаяся, – но он не знал наверняка, та же или не та же. Он злобно постучал в нее кулаком, словно чтобы позвать самого себя. Потом развернулся и бросил взгляд через реку. Через дождь было видно только островок Брентфорд-Эйт; справа с трудом проглядывало слияние рек с лабиринтом старых каналов и доков; а на противоположном берегу бодро зашевелилась на ветру полоса деревьев.

Теперь небо подернуло серебристым отливом – к хорошей погоде. Ближе к вечеру начался прилив, баржа всплыла, по бечевнику со стороны Чизика пришел Тим Суонн – с изможденным и затравленным видом посреди ватаги вопящих школьников. От дождя его одежда липла к телу; лицо поблескивало. Ничего не говоря, он просто сел и загрузил новый контент на сайт; после чего они провели вечер в дальнем зале «Эрл оф Марч», неохотно слушая синти-поп восьмидесятых, пока Тим ел говяжий мини-стейк с картошкой.

– Значит, до меня приходил ты, – сказал Шоу.

– Куда?

– В кабинет. До меня.

Тим озадаченно взглянул на него.

– Я там допоздна, – сказал он после паузы.

Четыре

16
Вода под морем

Виктория Норман доехала на «Фиате» до Шропшира, после чего предоставила шоссе M40 его заблуждениям о том, что с 1167 года Оксфорд – единственное средоточие всей истинно человеческой деятельности, и взамен неторопливо проехалась по долине Ившем до леса Уайр; после чего домой ее вела Северн. Виктория знала, что отныне ей придется быть осторожнее. Останавливалась она всего раз, перехватить сэндвич, глядя, как над отлогими полями у Тилбери-Холлоу кружат два красных воздушных змея с крыльями плоскими, как доски.

Вечер успел домой раньше ее. Пока она ехала в холм, между крышами и дымоходами еще лежал осадок заката в предсказуемо мунковских мазках красного и оранжевого, прямо как на репродукции в студенческой общаге столько лет назад. Открыв дверь, она обнаружила, что в ее отсутствие снова коротнуло электричество. Потом ела тушеную фасоль с маринованным баклажаном на тосте; включила телевизор и выключила; позже, наверху в кровати – как она думала, в комнате матери, – пыталась читать книгу, чьи страницы пахли чем-то средним между мастикой для пола и авокадо. Посмотрелась в зеркало. Написала сообщение Шоу. Удалила. В дороге за рулем устаешь, но спать при этом не хочется. Вождение подпитывает неприкаянность, включая какой-то ген, который потом никак не выключишь. Виктория решила, что коридор все-таки надо перештукатурить, но не существует такого идеального мира, в котором ей бы хватило денег осушить подвалы. Она размышляла, кого лучше завести, кошку или собаку. Она понимала, что по большей части думает, чтобы не думать, и с этой мыслью заснула.

Во второй половине следующего дня воздух смягчился и зарядил мелкий липнущий дождик; из парка на вершине города было видно, как его несет через всю Шропширскую равнину. Не дождь, а крышка над миром. Не пойми почему полная сил, Виктория бродила по округе, пока не промокла до нитки, обшаривала комиссионку за комиссионкой в поисках, чего бы послать Шоу, чтобы его повеселить. Каким-то образом ее занесло на тротуар перед кафе Перл, которое за запотевшими витринами казалось оживленным, шумным и ярко освещенным. Дверь не открывалась.

Она прижалась к стеклу и разглядела, что внутри полно мастеров – электрик, оформители, а в конце над чем-то, что она

не могла разглядеть, трудились два стекольщика, – но никого из них она не узнала. Молодые, высокие и мускулистые, еще без профдефомации, но уже знакомые с работой, – словно сыновья тех мастеров, которых знала она. Им форма шла больше. Стекольщики приехали на фургоне, как и оформители; остальные выстроили снаружи дорогие мотоциклы, кренящиеся в одну и ту же сторону, все – одних и тех же ярких красок, скользких, как непотрескавшийся лак под дождем. Внутри они целеустремленно расхаживали широкими шагами. Для них работа была веществом. Средой, где они плавали. Чем-то новым, что им нравилось. На работе они оживали. На их головах торчали шумозащитные наушники.

Под их воздействием в кафе пропало все знакомое. Вырвано с корнем. Пропала неоновая вывеска, остались только провода над дверью. Пропали даже давние запахи жира и горячего мяса – их вынесли вместе с разобранным кухонным оборудованием; теперь на улице перед дверью пахло лесопилкой, сильным клеем и дешевым герметиком; все звенело от вопля угловой шлифмашины, стука гвоздометов, грохота музыки. Звуки их работы транслировались через весь Верхний Город, пока не отражались от руин крепости Джоффри де Лейси, чтобы разбежаться, как рябь с перекрестными слоями в чаше воды.

– Прошу прощения! – окликнула Виктория. – Эй!

Она постучала в витрину ладонью. Отвлекаясь на помеху, в ответ они только качали головами и безмолвно шевелили ей губами. Будто смотришь на рыбку за выцветшим стеклом. Им хотелось вкалывать.

– Закрыто, милая! – кричали они. Мальчишки, что с них взять.

– Что вы *делаете?*

– Закрыто!

Пять часов, на площадь уже накинуло тень. Местные заведения опустошались. Мимо прошли два-три пешехода, оцепенело торопясь по своим делам, как фигурки с акварели 1920-х. С маленькой стоянки стартовала машина, потом другая. На полпути через площадь, когда Виктория обернулась бросить последний взгляд, не зная, зловещий это момент или комичный, ей померещилось движение в одном из верхних окон кафе. Будто слева направо, а потом обратно прошла женская фигура, расслабленная и домашняя. Но надо было учитывать отражение на стекле, да и воздух уже слишком потемнел от дождя, чтобы сказать наверняка. И все-таки Виктория вернулась и снова билась в дверь кафе, пока не убедила одного из парней подойти. Он задвинул респиратор на лоб, взял старомодную табличку,

висевшую на двери, ткнул в нее пальцем, потом проследил, чтобы она висела наружу стороной «Закрыто». Виктория беспомощно наблюдала, как он воссоединился с друзьями, хохоча и качая головой, возвращая маску на место, включая мотор дрели.

В такое время года чуть ли не слышно, как подо всем поднимается вода. Она наполняет древние стоки и подвалы. Наполняет зарытые колодцы и забытые канализационные кульверты, заброшенные галереи и выработки восемнадцатого века под ранневикторианскими таунхаусами, полузакрытые штольни, – что внезапно открываются в садах и при ближайшем изучении оказываются заполнены бесполезным закаменевшим железняком, словно детскими головками, – скрытно, но решительно пробиваясь наверх, зима за зимой, меж многослойными лабиринтами древних подземных механик.

Не сказать чтобы внизу что-то по-настоящему текло. И все же уровень подземных вод поднимался и опускался. Она капала и сочилась. Фильтровалась через расколотые слои породы под рощами – через безумную, непредсказуемую, неизмеримо богатую геологию, через топливо для промышленного света и магии, когда-то изменившее мир: деньги от железа, деньги от локомотива, деньги от пара и тонтин, необработанные подземные деньги, спрятанные в несогласно залегающих пластах, тайных жилах и пустотах, в перемешанном сланце, огнеупорной глине, гудроне, каменноугольных свитках и тонкослойном известняке, чтобы выбраться утечками и ручейками над музеями, экотропами и закрытыми железнодорожными ветками; а сопутствующее оседание втихомолку обгладывало поверхностную архитектуру Ущелья, медленно стягивая узкие улочки вниз с лесистых склонов. Ущелье направляло реку, но само по себе было не более чем губкой, накапливало капля за каплей огромные водоносные слои в гниющей матрице своей истории. Тем временем в городе новые дороги проявляли тенденцию сдвигаться и идти рябью; а в доме 92 по Хай-стрит разразился слезами и вонью трехкомнатный подвал с кирпичными бочарными сводами и кухонной плитой конца девятнадцатого века.

От сырости новомодные меловые и клеевые краски по всему дому пожелтели в одночасье. Она сидела, слушая дождь, лай собак по соседству, странный гул кухонной флуоресцентной лампы. Перед окном на улицу вечно влажно кашляли. Стоило выглянуть, как старики, утомленные и ноющие за своими сплетнями, оказывались молодежью. На первых порах нервно, но она все же вернулась в поля за городом; и через несколько дней очутилась у пруда, где последний раз видела официантку.

Пруд выглядел шире. Его гладь шла рябью от ветра, ямочками от дождя. Виктория уставилась на клок камышей посередине: ничего. Лепестки подводных цветов словно чуть потускнели. Над лесом зависла какая-то дымка или туман. Виктория ежилась под ЛЭП, словно в каком-то укрытии; подавила порыв снять туфли и войти в воду. Она все пыталась и никак не могла вспомнить – признать, – что здесь произошло. Но, в конце концов, а *что* вспоминать? В нынешнем устройстве мира люди не входят в пруд так, словно спускаются по лестнице в метро на Оксфорд-Серкус в безлюдный вечер среды. Не исчезают на глазах. Перл отлично знала, что за ней наблюдают. И не столько Виктория – которая со своей красивой машиной цвета латте и лондонским стилем никогда не считалась здесь за настоящего игрока, – сколько владелец голоса среди ожидающих деревьев. В Перл все знало об этом полускрытом взоре; она искала его одобрения, чувствовала и приветствовала его вес. Тем утром она пришла к пруду быть увиденной.

От этого понимания Виктории поплохело. Она потянулась рукой за спину, уперлась в вышку, позволила той принять на себя ее вес. Через тело прошел быстрый пульс вышки, и она инстинктивно вскинула взгляд между стеклянных изоляторов к серому небу. По лицу побежал дождь. Ветер прекратился. Посмотрев на ладонь, она обнаружила, что та вся в ржавчине.

– Облезлая рухлядь, – прошептала она.

Куда бы она после этого ни шла, всегда видела на среднем расстоянии, как кто-то дрессирует маленькую собачку. Позже обнаружила «Тойоту» Осси на обочине улицы Бледных Лугов.

Такси в ней было уже не узнать. От машины сквозило какой-то бессмысленностью. Одна шина спущена. Корпус окрашивала высохшая грязь разбавленного серого цвета, словно кто-то вращал передние колеса, пытаясь проехать через рощу за стоянкой. Даже окна были замызганы. Кастроловская куртка, с искаженным цветом из-за странно распределенного в салоне освещения, висела на спинке водительского кресла; сзади он оставил желтую строительную каску и рабочий жилет с логотипом какого-то местного девелопера; два-три выпуска старомодной порнухи на толстой глянцевой бумаге. «Ты осторожней ходи на Бледных Лугах по ночам», – вспомнила она его предостережение. Возможно, он забыл собственный совет.

Этой площадкой, изначально бывшей небольшим известняковым карьером под боком холма, пользовались не столько для парковки, сколько для разворотов: лужи грязной воды глубоко избороздил и исковеркал грузовой транспорт средней тяжести. Из трещин и углублений в стене карьера

пробивались клоки папоротника. Сами луга уже поколение назад прихорошили и превратили в спортивные площадки. По виду и не скажешь, чтобы они когда-то были бледными. Когда ей померещились голоса, она окинула взглядом оба конца дороги. Воздух был темным и заляпанным дождем – легко подумать, будто кто-то едет, хотя никто не едет. Она громко постучала по крыше «Тойоты» на случай, если Малыш Осси спит внутри. Ничего не произошло, разве что она представила, как он свернулся с пугающей компактностью крошечного млекопитающего в каком-то не видном ей уголке. В конце концов она быстро ушла через спортивные площадки и добралась до дома через Нижний Город.

Ей уже осточертели что дочь, что отец. Она чувствовала, как задвигает в дальний ящик весь этот период – и ведь не стоило этого делать, но вот, уже делала. «Мне нужно яснее смотреть на мир, – говорила она себе. – Мне нужно прочистить голову». Стоя в то утро у пруда, она слышала, как шепчет: «Но я не понимаю, что ты имеешь в виду!» – будто официантка стоит рядом и готова спорить; или как будто где-то существовало описание всех этих событий, на котором они могли бы сойтись. Дома она составила список дел на завтра, первым пунктом – завтрак в своем саду.

Но для этого оказалось слишком дождливо, так что она сидела у окна на площадке первого этажа с ноутбуком на коленях, ела кукурузные хлопья прямо из пачки и отвечала на почту. Деньги кончались. Теперь она была как все остальные: просматривала адресную книгу, рассылала сигналы бедствия, искала работу на дому. Время от времени смотрела через стекло на промокший газон, разросшуюся розовую арку, желтеющие кустики монбреции. Сколько еще надо наводить порядка. Внезапно все стало унылым и заросшим.

Шоу на связь не вышел.

В Лондоне он ей показался таким же эмоционально отсутствующим, как и всегда. Если глубина его нервозности озадачила, а его любимый ресторан – ужаснул, то от комнатушки с мрачной россыпью дребедени вовсе передернуло. Он всегда будет хотеть так жить – под боком общего туалета с необъяснимыми пятнами: не из-за экономии, а чтобы не высовываться, уйти ниже какого-то радара, почувствовать который больше никому не хватало примитивности. Но нельзя же показывать человеку, что ты видишь его насквозь. «Люди мнят, будто у них есть плавательный пузырь, какое-то базовое допущение – не столько о себе, сколько о мире, – которое держит их на плаву, – писала она ему. – А потом узнают, что нет.

Штука в том, что я всегда хочу рассказать тебе о своей жизни, но почему-то никак не могу. Не странно ли?»

В этот раз не смогла потому, что, стоило отъехать на юг от Чилтернса, как ей показалось, что ее страхи – как минимум на миг – успокаивающе остались где-то далеко; потому, что всего внимания требовала апатия самого Шоу; но, наверное, самое главное – потому, что, в конце концов, никто из них никогда не сможет рассказать что-нибудь другому. Разница между ними в том, что она это понимала, а он – нет. Виктория видела это препятствие, но не могла его обойти; а Шоу, подозревала она, о своем препятствии даже не догадывается. В результате она, и так потрясенная спуском официантки в пруд (если все действительно так и было), только еще больше расшатала себе психику в попытке опереться на самого ненадежного обитателя современного Лондонского бассейна.

В саду жирный голубь вертикально поднял под дождь крыло, чтобы смыть паразитов; кратко, но решительно подтвердил результат клювом; затем, наклонившись в другую сторону, повторил процедуру.

«Он там вообще часто, – рассказывала она Шоу, надеясь его развлечь. – Сидит на заборе соседнего дома, ждет, когда наполнят кормушку». Ей всегда казалось, говорила она, что птицы скрытно обитают в листве. «Но один вот ведет жизнь по принципу прозрачности, в любую погоду – у всех на глазах. С особым пристрастием к сексу, если другой голубь свободен». Птица успокоилась, вспушила перья, снова успокоилась. «Это даже впечатляет. Но в моем случае не поможет. Я не умею расслабляться». Она перечитала это утверждение и по некотором размышлении признала, что оно не доносит то, что она надеялась донести. «Ты же понимаешь, – написала она вместо этого, – ты мне нравишься, но мне было бы лучше, если бы мы все-таки вели какой-то диалог. Наверное, так все думают. А то мне вечно кажется, будто я пишу не на тот адрес, а ты с этим не очень помогаешь».

Внезапно она удивила сама себя такой концовкой:

> «Надолго ли я здесь? Сомневаюсь. В последнее время здесь так темно, а в доме – так сыро».

Последовал целый месяц дождливых дней, идущих один за другим с какой-то планомерной, просчитанной злобой. В городе стали раньше включать фонари. Под сумерки царило ощущение суеты. На Хеллоуин Виктория простудилась и целую неделю проходила оглохшей на ухо. Чувствовала себя взаперти в себе. Кто бы ей что ни говорил, она ничего не могла понять – слышать

слышала, но как-то не так.

– Скоро Рождество, – говорили продавцы покупателям в очереди. Виктории хотелось поддержать разговор, но в голову ничего не приходило.

– Как сама? – спрашивали у нее все.

– Нормально! – говорила она. У нее все нормально. Только простуда, которую она решила приструнить вечерней дозой шираза. Она часто думала, что для разнообразия стоит сходить в «Лонг Гэллери» и посмотреть, что у них там; но ее отпугивали кавер-группы и караоке – компании выпивох, перекрикивающихся и пересвистывающихся друг с другом через улицу под время закрытия, чтобы довести себя до какого-то плато возмущения, очевидного выхода с которого уже нет. Однажды в четверть двенадцатого в четверг вверх по холму за остальными гуляками поднялся Томми Джек, с видом неохотным, ссутуленным и угловатым, словно он что-то прятал под пальто. Он отставал. Когда он достиг гребня холма, они уже давно перевалили через него и спускались к реке. С того времени, как Томми Джек приходил к ней домой второй раз, его вид каждый раз портил ей настроение. Она подбежала к двери и с силой распахнула.

– Что-нибудь продаешь? – услышала она, как кричит ему вслед. – Продаешь фотки плавающих мальчиков и девочек?

Томми Джек оглянулся через плечо не совсем в том направлении и попытался улыбнуться; но сегодня его лицо словно было слишком большим и круглым, чтобы так легко ему подчиняться. Каким-то лунообразным. «Эй!» – воскликнула Виктория. Она всегда воспринимала его как угрозу; в то же время всегда в его присутствии чувствовала себя сильнее. Она сунула одну руку в рукав своей куртки, криво натянула на плечи и выбежала за ним с криками:

– Быстрее, Томми! Томми, тебя бросили друзья!

Они спускались к старому железному мосту. Большую часть дороги было темно, хотя урывками проглядывала череда уличных фонарей в Ущелье, а также восточный неон закусочной навынос «Лавендер-Хаус» и желтые окна отеля «Топ Тайм». Томми Джек сперва торопился, потом, вдруг устав, сбросил скорость. Тогда она поймала его за руку и подтолкнула с криком: «Торопись, Томми! Все твои друзья уходят!» На самом деле друзей уже как и не бывало – исчезли в припаркованных машинах или улочках на склоне, ведущих к ним домой. Томми стряхнул Викторию и с одышкой побежал через мост. Во время погони вдоль реки ее куртка волочилась по земле, пока они не оказались перед домом Перл.

Ко времени, когда они вошли, глаза у него были на мокром

месте, лицо – сдувшееся и болезненное. Он рыдал, и Виктория уже не понимала, что делает или за что его так тиранит. Она протолкнулась мимо него и взбежала по лестнице к комнате официантки, звала:

– Перл! Перл! Где же, да *где* же тебя носит?

– Ты ее больше не увидишь, – сказал за ее спиной мягким уставшим голосом Томми Джек.

Когда она обернулась, чтобы накинуться на него, его уже не было.

У Перл все осталось как было – кроме матраса, который сняли с дивана и прислонили к стене, да так и оставили, пока он не изогнулся в позе бездомного на какой-то темной городской площади. Ноутбук пропал. Пол припорошила пудра для лица. Из плакатов остался только «ВАМ МОЖНО». Под него перетащили и криво поставили туалетный столик Перл, пустой, не считая блюдца с водой.

– Где ты? – спросила Виктория у вещей. Не думая, окунула пальцы в воду, обнаружив, что она холодная и соленая, как в море.

– Где ты? – Это было обвинение. Это был, как она сама поняла, способ сказать: «Я ожидала большего».

Она уже решила поговорить с толстяком Энди, потому что он вопреки себе казался рассудительным и добрым человеком. Но перед его комнатой до того разило собачьим дерьмом и диабетом, что ей пришлось дышать через рот; и с каждым шагом она слышала внутри шарканье. Собаки нервно порыкивали; стучали по полу их тупые когти. Они там, представляла себе она: вскарабкиваются на лапы, больные, не соображающие, полуслепые, следят за звуком ее передвижений за стеной. И казалось, словно ее слышал кто-то еще: когда она уже собралась с духом, чтобы покончить с этой отвратительной интерлюдией, раздался спокойный и твердый голос:

– Эта девушка, с ее особым сайтом и стрингами, представляет прошлое. Мы – будущее. Теперь мы – будущее.

Когда она вернулась в прихожую, Томми Джек был там же, где она его оставила, – ошивался между входной дверью и лестницей, бездеятельный, как предоставленный самому себе зверек. Он скрежетал зубами. На него падал серый пополам с желтым свет; его глаза были сухие – пустые и отражающие, как у овцы. Внезапно он сдвинулся с места и захохотал.

– Города суши принадлежат нам. Нам больше не нужна Перл!

– Ты хоть понимаешь, что несешь? – сказала Виктория. – Потому что я – нет. – И, отвернувшись от него, пошла по коридору.

Вдруг он словно в один миг снова очутился перед ней, с перекошенным лицом и сунувшись вплотную к ней, с криком:

– Ты дура! Это ты не знаешь, что происходит!

Затем каким-то образом ускользнул от ее рук благодаря хитрому движению, которое она не могла осмыслить, и ушел в одну из комнат вне ее поля зрения; а когда она огляделась, снова увидела старых мастеров – они выстроились на лестнице, словно густо налипшая на магнит железная стружка, сгрудились в своих несоразмерных флисовых куртках и защитных штанах, смотрели сверху вниз.

– В этой книге многие находят утешение, – сказал кто-то.

Отель «Топ Тайм» у железного моста закрывался на ночь; такси из Телфорда собирали пассажиров; один за другим гасли фонари вдоль набережной. Вчера с Ирландского моря через Сноудонию пригнало дождь, как и позавчера; Северн налилась водой с быстрыми и маслянистыми бликами. Все казалось бессмысленным и неудовлетворительным, и теперь ей снова переться обратно в холм в темноте.

Дальше утра тянулись медленно; дни – словно пролетали. Она не знала, как почувствовать себя лучше. Музыка утомляла. Свет в доме 92 падал с оптической четкостью, и она видела каждую задоринку, вмятинку и неровность покраски. Скоро она уже думала, не продать ли дом. Только не знала, куда еще податься, разве что обратно в Далстон. Оглядываясь назад в эти дождливые дни, она видела не только то, что не смогла сделать, но и где зашла слишком далеко и сделала слишком много. Было такое чувство, словно она потревожила уединение старого дома, его глубинное самоощущение, что когда-то ее и привлекло. Вспомнилось, как много вещей матери она выкинула.

«Вначале мне здесь нравилось», – написала она Шоу, а потом не знала, как закончить мысль. Ни с того ни с сего спросила: «Что ты обо мне подумаешь, если я просто возьму и передумаю? – признавая: – Наверное, ты принимаешь меня за круглую дурочку».

Кафе Перл открылось на вторую неделю ноября в виде магазина домашних аквариумов под названием «Шропширские товары для рыбок», которое, написанное сине-зелено-лиловым неоном над дверью, повторялось в стенде тех же цветов на улице. Внутри длинная стена бывшего кафе стала рядом больших плоских телевизоров, на каждом – своя сцена из диснеевского мультика про подводный мир. Среди водорослей можно было разглядеть силуэты, напоминающие рыб, неразборчивые, но, наверное, как-то побольше и помедленнее – и, наверное, без

прозрачных плавников и ярких красок, – тех рыбок, которых ожидаешь увидеть в аквариуме в гостиной. Они поворачивали туда-сюда, словно могли себе позволить признать – хотя и не демонстрируя никаких с ним отношений, – другой мир, наш мир, где за стойкой сидели далеко друг от друга, окутанные мягкой зеленоватой тенью, словно протекающей в помещение из аквариумов, Томми и Бренда Джеки.

Они казались погруженными в работу. Бренда дежурила на кассе, а Томми писал что-то в книге, потом резко поднял голову, словно его позвали, и – обойдя в центре пьедестал с маленькими (более-менее десять литров) аквариумами, подсвеченными цветом мятной зубной пасты, словно квартовые компьютеры с прозрачными корпусами в каком-то футуристическом «Эппл-сторе», – пошел на второй этаж. Со стойки же они вели сайт магазина – подводное онлайн-приключение по идеям для акваскейпинга и декорирования аквариумов. На какое-то время благодаря этому предприятию площадь вновь набрала популярность, особенно после школы и утром по субботам, когда дети стекались постучать в аквариумы и попугать их обитателей.

– Господи боже, – сказала себе Виктория, бросив еще один взгляд в витрину, а потом ушла через площадь.

Дело было ближе к Рождеству, чем ей бы хотелось, и со времен ее визита в комнату Перл больше ничего не произошло. В конце концов пришлось признать, что официантке, видимо, надоело дожидаться на окраинах Мидленда, когда же начнется жизнь, и она отправилась навстречу какому-нибудь будущему, что ей подвернется в пути. Нельзя этим не восхититься; нельзя не увидеть в этом плюс. Виктория вернулась к себе и, выпив чай, выставила дом на продажу.

17
Ненадежность форм

Хотя в первую неделю к ней несколько раз приходили, покупать никто не торопился.

О встрече договаривались достойные и жизнерадостные люди, нередко даже из соседнего города. Семьи с собаками или детьми. Всем нравился дом 92 и то, что она с ним сделала, а Виктории нравилось видеть его их глазами. Но вот сад их уже что-то смущал.

Сад Виктории по-прежнему раскрывался тебе навстречу, как и на протяжении всего лета, только теперь при этом начал раскрывать что-то другое, что-то, что ей нравилось меньше, хотя и не менее властное. Выглядывая по ночам с лестницы, она чуть ли не ожидала встретить совершенно новый вид. Лунный свет по-прежнему умиротворял лужайку, гладкую, как вода. Но звезды в ней не отражались, на что Виктория отчасти надеялась. Днем она стояла на кухне у открытой задней двери и смотрела, как дождь пропитывает буреющие клочки и гнезда растительности, еще на ее памяти бывшие массой цветов. Стены, тропинки, все искусственные поверхности сияли от воды, полной неба – слишком белого для того, которое вода отражала. Надо бы привести сад в порядок, знала Виктория, если бы только не покупатели, а потом – зима. Надо бы пересадить розы. Вид был очень печальный. По ту сторону арки – еще хуже. В конце весны она от имени летних бабочек приветствовала буддлею; теперь буддлея только напоминала о заросших пустырях, что пробегают за окнами лондонских поездов. Сама арка превратилась во врата, которых Виктория избегала.

Были и другие проблемы. Несмотря на размеры дома, она поймала себя на том, что согласна с посетителями – комнат и в самом деле маловато; большие комнаты труднее обогревать, и подвал сырой, и постоянный дождь только подчеркивает подобные проблемы. Такой дом, как у нее, поняла Виктория, – то есть дом, немало переживший, немало повидавший; хоть и очаровательный, но шумно устраивающийся поудобнее под климат, скрипя в ночи; дом с очень старыми половицами, «как на корабле», что бы это когда-то ни значило; дом, где не стоит произносить вслух слово «проседание», чтобы оно не аукнулось; такой вот дом со всеми сопутствующими расходами, – может быть слишком рискованным предприятием. И все-таки ей было обидно.

«Я ради этого перестрадала приход строителей, – хотелось

напомнить посетителям. – Они беззаботно топотали и колотили целые дни напролет, громыхали по моей красивой лестнице. Починили крышу. Чердак теперь замечательный, потому что я страдала, пока они трескали шоколадное печенье. Да там совсем новенький пол! На моем чердаке хоть завтра выходи из гавани с ранним отливом». Но она и так уже достаточно сбивала их с толку и сама это понимала; особенно детей.

С ивы осыпались листья, на боярышнике высыпали ягоды. От полей Виктория держалась подальше. Да и вообще все держала на расстоянии; каталась на «Фиате» до самого Ранкорна; забывала о назначенных встречах. Тем временем ноябрь без предупреждения махнул на себя рукой, и внезапно город затянуло в первую неделю декабря. Загорелись рождественские гирлянды; кто-то отбуксировал «Тойоту» Малыша Осси с площадки на Бледных Лугах. Однажды утром дождь ненадолго стал снегом. За день до этого на валлийских нагорьях выпало шесть сантиметров. Северн в Ущелье стала рыжеватой – чуть темнее лабрадора; вниз и вверх по течению множились предупреждения о половодьях. Виктория наблюдала, как на старой платной парковке раскрылись туристические автобусы, словно карамельно-красные личинки: из них, недоумевая, но смеясь, спешили по двое и по трое через железный мост и вдоль по Уорфедж поздние туристы из Калифорнии и Южной Кореи, только чтобы обнаружить барьеры от наводнения и реку, что поднимается между ними и промышленным прошлым, на фоне которого они приехали нафоткать селфи. Виктория недолго смотрела в ту сторону; содрогнулась; поплелась обратно по холму в город, только чтобы обнаружить, что на главной улице прорвало водопровод.

Вдоль дороги извергались большие пушистые гейзеры. Во всех направлениях сверкала радуга. Вода собралась перед скобяной лавкой, а потом понеслась между коттеджами на Вулпит-роуд к реке, словно наводнение. Из ближайших магазинов высыпал народ, улыбаясь с какой-то радостной тревогой на лицах. Дети и даже некоторые мужчины кричали и носились, и их приходилось останавливать. Виктории казалось, будто здесь ненадолго собрался весь город, гадая, закончится ли сейчас мир или всего лишь выберет какое-то простое, красивое, изумительное направление.

Большие или пустяковые, все эти случаи выглядели частью целого; все словно указывали на одно и то же. Вот только непонятно на что.

Как часто бывает при новой экономике, «Шропширские товары для рыбок» выживали, но не процветали. Магазин,

ненадолго став не столько предприятием, сколько курьезом, был из тех событий маленьких городков, чей звездный час уже прошел. Скоро маленькая площадь снова уснула. Посещаемость упала, хотя в темные вечера клиенты еще приходили. С этим было не поспорить. Их можно было заметить со спины, силуэтами на фоне витрины, куда они таращились; и самое неизгладимое впечатление оставляли их плечи, которые, когда не нахохливались из-за холодов ранней зимы, выглядели длинными и круто покатыми. Как только они входили, звенел колокольчик.

Малыша Осси теперь можно было видеть за стойкой даже чаще, чем Джеков. Его «Тойота» снова появилась на парковке, в своем обычном положении впритирку к баку с песком, слегка под углом. Всю грязь смыли шлангом, спущенную шину заменили; в противовес кто-то разбил заднее окно, словно то, что произошло в карьере, нужно было воспринимать как часть нескончаемого процесса. Старик поздно закрывался и никак не мог запереть дверь с первого раза. Так Виктория Норман его и застала, однажды вечером в десять: пока он возился с замком, согнувшись в три погибели, хотя все-таки не на корточках.

– Эти двое уже съехали? – спросила она. – А мне казалось, они там на своем месте.

Это она забавно подметила, сказал он. Томми и Бренды, если она о них, сейчас нет.

– Это я вижу, – сказала Виктория.

– Они в Кинвере, по своим делам: больше мы их не увидим. По крайней мере, не в ближайшее время. Не в ближайшее.

Они недолго смотрели на магазин. Аквариумы переливались или светились: на этой точке падающей кривой бизнеса в них было больше декораций – той странной искусственной среды, где все либо затонувшее, либо затопленное, – чем рыбы.

Затонувшие домики, затонувшие мостики, затонувшие замки, затонувшие колонны храмов и минареты. По гравийному дну, уходившему в безмятежную зеркальную бесконечность каждого зеленого аквариума, были разбросаны затопленные виллы эклектичного стиля. Там царила эстетика светящейся гальки, грибов аляповатых фиолетовых и зеленых оттенков; заговор древних каменных голов, утонувших подлодок и саркофагов.

Внизу, где масштаб ничего не значил и даже воду можно было изобразить затонувшей, над домиками нависали огромные постмодернистские сундуки с сокровищами, переполненные широкими монетками и нитками жемчуга. Все ярко симулировалось, сияло, красовалось тропическими оттенками, обросло пластмассовой ряской, символизирующей медленные и глубинные морские перемены: аквариумы словно преобразились в

диорамные версии знаменитых, но ныне утраченных коралловых рифов мира, воссозданные аниматорами, которые в жизни не видели коралловый риф.

Виктория показала.

– Вон тот водопад, – сказала она. – Он из пластмассы. Скажи, от него правда неуютно? Под водой якобы течет вода?

Она почувствовала, как передернулась.

– Мне – да. Мне неуютно.

Старик молча наклонился и снова принялся возиться с замком. Воспаленные глаза. Сопливый нос. Она вцепилась в плечо кастроловской куртки и попыталась выпрямить его – как ставят на ноги младенца в торговом центре. Она была твердо настроена завладеть его вниманием.

– Где ты был? – сказала она.

Стоило до него дотронуться, как он бросил, что делал, и уставился перед собой, но не так, как если бы что-то увидел. Просто лишился движения. Словно его напугало развитие событий – и в то же время удовлетворило. Пока он так торчал, дождь удвоил силы, падая в свечении магазина длинными белыми мазками. Он падал со шкворчанием и эмульсировал волосы на макушке Малыша Осси. Загривок его куртки промок; под тканью старик казался на ощупь тощим, но его трапециевидные мышцы были твердыми как кость. Ей пришло в голову, что этого человека невозможно вывести из себя. Но все же он полон сил: если бы хотел стряхнуть ее руку, стряхнул бы.

– Не спрашивай – и я не отвечу, – заметил он.

– Можешь просто перестать меня избегать, – сказала Виктория. – Обещаю, ты ничего этим не выиграешь. Я только хочу знать, что случилось с Перл. Я хочу знать, что случилось с моей мамой перед смертью. Я хочу знать, что здесь случилось.

Под патиной дождя его лицо поблескивало белым. На миг ей показалось, что он ее ударит. Но он только отстранился, долго смотрел на нее, затем сказал:

– В конце все получат ответ.

– Ой, иди в зад. Просто иди в зад.

Но вместо этого он погладил ее по руке.

– Не волнуйся ты так, малая, – посоветовал он. – Как дойдет до дела, с тобой все будет хорошо. Иначе с вами и не бывает.

Растерявшись из-за какой-то максимальной бессмысленности слов, она могла только наблюдать, как он проворно перебегает под дождем через площадь к машине – нахохлив плечи, с руками в карманах.

– У тебя есть собака? – услышала она, как кричит ему вслед своим худшим столичным голосом – настроенным ровно

посередине между ипотекой в Далстоне и тетушкой в Клапеме. – Это же тебя я видела, да? В полях, и в городе по ночам, с собачкой?

Сперва Малыш Осси словно не обратил на нее внимания. Дождь барабанил по крыше «Тойоты», разлетался твердым паром в свете неоновой вывески. Он распластался на багажнике, чтобы выбить оставшиеся осколки заднего стекла; потом в необычном скользящем движении – в котором и гибкость, и неловкость сдержали весь свой потенциал, – втянул себя через дыру. Засучил щуплыми бедрами. Крошечные ступни брыкнули, стукнули, потом проворно пропали из виду. Внутри он развернулся и высунулся, недолго покачав головой Виктории в каком-то озадаченном презрении – словно в принципе невозможно ошибаться так, как ошибается Виктория, – и тогда уже пропал насовсем.

– Когда придет твой черед, все у тебя будет хорошо, – услышала она его сразу перед тем, как завелся двигатель.

Дискомфорт от этой встречи выгнал ее из города – по A5 глубоко в Уэльс. В результате она пропустила столько встреч, что риелтор перестал направлять к ней покупателей. Виктория отправилась его пришпорить – к его опрятной витрине в Верхнем Городе. И риелтор, и его помещение пахли лаком и продажами.

– У вас тут так *замечательно*, – сказала она, вздыхая и оглядываясь. Твердо решив не проникаться ситуацией, он сосредоточился на своем офисном столе.

– Посмотрим, – сказал он. – Посмотрим, что у нас происходит.

К ней есть много интереса, сказал он: много интереса. Интереса много, но цена дома 92 кажется людям малость завышенной.

– При том, сколько ремонта предстоит, цена кажется малость завышенной.

– Но я сама делала ремонт, – сказала Виктория, упрямо глядя за витрину на улицу. – Я знаю, что сад страшненький, но крыша, например, идеальна.

Она чувствовала, как он профессионально сидит за ее спиной, вежливый, неосуждающий, хотя у него хватало своих мнений: скорее врач в дорогом костюме, чем риелтор. Она подумала, что места принуждают тебя жить происходящей в них жизнью. Вроде думаешь, что ты где-то на окраине, но на самом деле тебя все время затягивает в центр.

– Вы знали, что ваш город существует с 1086 года? – сказала она. – Когда он носил название Болсоу?

Казалось, он поразмыслил над этим. Потом дал совет:

– Знаете, в наши дни люди часто сами занимаются продажей. Так может выйти намного дешевле. – Он объяснил, что не повредит говорить людям откровенно, как обстоят дела. – Например, ваша мать справилась со всем сама, через интернет.

«Моя мать с оплатой проезда на автобусе не справлялась, – подумала Виктория. – По крайней мере, когда я ее знала».

– Лучше бы хлопоты взял на себя кто-нибудь другой, – сказала она как можно небрежней. – Нам всем нужно меньше сидеть в интернете.

К этому времени она уже была у дверей. Хоть он ей и нравился, все это слишком уж напоминало урок терпеливого преподавателя.

– Если я пообещаю хорошо себя вести, вы будете опять присылать людей?

Он просил ее сделать что-нибудь хотя бы с садом. Не успела Виктория передумать – или отчетливо вспомнить последний раз, когда туда ездила, – как вернулась в Чайлд-Беквит. Там она обнаружила, что парковки опустели, особняк закрыт, семейство – на Барбадосе, как и каждое Рождество с 1956 года: обновляют силы, при этом перепроверяя свои связи со старыми рабовладельческими и сахарными активами, пока на родине над темнеющими лужайками смыкаются кедры, а влажные сияющие плиты из известняка отражают небо, которое бы узнал римский легионер. Павлины слышались, но откуда-то издалека. Очевидно, в розарии ничего не происходило: посадки осунулись, наружу торчала, словно кости, несущая структура всего. Пруд Виктория обошла стороной. Прогуливаясь через галерею Элизабет Беррингтон, мимо псевдобронзовой скульптуры кролика и мимо акварели с обвисшей наперстянкой, она выдавила улыбку. Но настроение не поднялось; день затвердел.

Перед уходом она прошлась через поместье, по плантациям идеальных деревьев, пока не поднялась на высшую точку искусственно возведенного хребта, который устроили ради видов ландшафтные дизайнеры восемнадцатого века. Отсюда можно было заглянуть за особняк, где на террасе кафе кто-то оставил опрокинутый шезлонг, и между саванными складками земли до самых Крэмп-Пула и Бекли. Укрытия наверху, если только не хочешь войти в ионический храм, не было. Дождь задувало между одинаковыми декоративными озерами по склону ей в лицо. После некоторых размышлений она заказала в магазине особняка доставку из другого розария «Красы Англии» и «Девы Котсуолда» – столистников с голыми корнями. Даже расплачиваясь, она не могла представить, как такие сушеные и мрачные на вид палки

будут процветать у кого-то другого, в уже чужом саду, не ее. Наклонилась навстречу ветру и закрыла глаза; вдруг снова открыла.

Она услышала крик, от нижнего озерца из двух; а теперь видела одинокую неподвижную фигуру в темно-синей куртке лебедочника, глядящую над водой. Фигура миг помедлила, затем – опустив голову, с руками в карманах, – быстро ушла по мягкой почве у стоков, через кусты рододендрона, в сторону заброшенного ледника и примыкающего кладбища домашних животных. Виктория видела, что на втором этаже главного здания слабо горит одна лампочка.

– Перл! – услышала она собственный зов. – Перл, это ты?

Но как это могла быть она? Кто бы это ни был, он не остановился и не оглянулся; и скоро берег озера снова опустел. Она все равно сбежала по склону, пока сама уже не стояла у воды в поисках отпечатков в сероватой грязи. Было трудно избежать растущих чувств бесполезности и страха. Ничто не раскрылось. Она теряла все, чего хотела. Мораль неудержимо падала.

Позже, на парковке, она сидела, слушала стук дождя по крыше машины, пока небо над холмом Кли ритмично сперва набирало, а затем распространяло ощущение розовизны – не совсем цвет, – словно где-то за тисами Беквитов что-то вновь и вновь наполняло емкость зимнего заката, которую она не видела.

Риелтор сдержал слово. Несколько дней ничего не происходило, затем покупатели повалили неудержимым потоком. Они ехали из общежитий в округе Бирмингема и Вулверхэмптона с таким видом, словно тамошняя жизнь привила им какую-то нервную соревновательность. Вместить свои среднелитражки в пятачок прямо перед домом было для них делом принципа; в остальном ей трудно было понять, что им нужно от жизни. Их всегда приводили периоды отчетливых дней, когда ранний туман рассеивался под ярким солнцем. Однажды под конец субботнего утра приехала тощая женщина с глазами, запавшими от диеты и кроссфита в борьбе с возрастом, с внешним видом, основанным на черных компрессионных чулках и безжалостно затянутом назад хвосте. Ее, сказала она, зовут Хелен. Стоило Виктории открыть дверь, как Хелен уже вошла, оценила прихожую, направилась к лестнице.

– У меня минут двадцать, – сказала она. – Вам не кажется, что за таким старым кафелем трудно ухаживать?

В основном речь Хелен казалась слишком напряженной для их обстоятельств, словно она вечно намекала на что-то еще. После каждого вопроса она искоса мерила Викторию взглядом,

чуть наклонив голову набок, словно говорила: теперь твоя очередь. Это одновременно и завораживало, и раздражало. По ее словам, она приехала из Кинвера; работа Хелен касалась многих аспектов оздоровления и физкультуры особых групп населения. Виктория, которая понятия не имела, что это значит, ходила за ней из комнаты в комнату, пересматривала собственные жизненные решения с каким-то запуганным стыдом и отвечала что-нибудь вроде «Я сделала большой ремонт на крыше» или «Кажется, половицы оригинальные».

Хелен словно не слышала, хотя в ее выражение иногда вкрадывалось слабое раздражение.

– Где-то за всем этим скрывается хороший дом, – она была вынуждена признать после краткого тура по саду. – Но в наше время нужно предлагать людям больше.

– Я купила розы, – сказала Виктория.

– Но хотят-то люди не розы, правильно? Только не на этом рынке. Не знаю, как у вас, но в Кинвере люди хотят барную стойку.

– Ну это я так, чтобы сад стал повеселее.

Хелен натянуто улыбнулась; затем перед уходом задержалась взглянуть на солнечный свет, падающий на старый фасад.

– Барная стойка и осушенный подвал, – сказала она задумчиво, а когда Виктория не нашлась, что ответить, пожала плечами. – Конечно, погода сегодня на вашей стороне. – Она села в машину и завела мотор, потом опустила окно, словно в последнюю минуту пришла к какому-то пониманию. – Думаю, вы поставили высоковатую цену, – сказала она. – Особенно в это время года.

Всю неделю в городе можно было видеть ее «Ауди», стоящий у тротуара в самых непредсказуемых местах, пока Хелен, свесив локоть в окно, выглядывала, чтобы *каксамкнуть* кому-нибудь или поторговаться из-за местных цен. Виктория старалась не попадаться ей на глаза. На кивок с другой стороны главной улицы Хелен улыбалась и заговорщицки качала головой, словно они все еще в доме Виктории и обе понимают, о чем речь. Казалось, она знает всех.

Чем ближе к Рождеству, тем меньше Виктория понимала, что делать. Пришли розы Чайлд-Беквитов, но так и остались в упаковке, непосаженными. В один день было темно и в воздухе зависала, не падая, мокрая взвесь; в другой – в ярком холодном воздухе было видно собственное дыхание. Городок, расширяя собственное представление о себе, распевал гимны, проводил Полуночный фестиваль огней и тракторов. Эти огромные машины, словно плавучие рыбозаводы на мели, ползали туда-

сюда в морском слое собственных выхлопов. Всюду носились собаки и дети. В загоне у крепости Джоффри де Лейси весь вечер терпеливо стояла лама шоколадного окраса. Сохраняя аристократический вид в плетеном ошейнике с ленточками и монетками, не обращая никакого внимания на фейерверки или кавер-группу U2, она дожидалась, когда ее церемониально проведут от Вулпит-роуд вниз к реке. На миг показалось, словно все освещено не столько уличными фонарями, сколько мифическими пересечениями, перепутанными предчувствиями еще не придуманных традиций.

На следующее утро Виктория наткнулась на Хелен, когда та сидела с другой женщиной в кафе «У Бетани», стратегически расположенном в двух заведениях от «Маленького свадебного магазина» в Верхнем Городе, в начале Портуэя. «У Бетани» с его эстетикой самодельных вымпелов и пластмассовых стульев в стиле Кристин Килер было маленьким и выглядело довольно новым. Табличка на стойке гласила: «Сбалансированное питание – это кексик в каждой руке». И Хелен, и ее спутница – женщина постарше в приталенном шерстяном пальто бордового цвета – выбивались как из обстановки, так и из общества друг друга. К тому же Хелен, похоже, злилась.

– Не понимаю, почему люди не отвратительны сами себе еще больше, – расслышала Виктория с необычной четкостью ее яростный голос. – Выжимают из других все соки ипотекой, пенсией и страховкой, но раз у них хорошая прическа и они всегда поступают, как лучше для них, *они* не могут ошибаться, о нет. *Они*-то ошибаться никак не могут. – Она злобно таращилась перед собой. – Не понимаю, почему *мне* должно быть стыдно, – с напором заявила она.

Вторая женщина, явно растерявшись, опустила взгляд в свою чашку.

– В общем, – сказала она, – в конце концов я тоже положила кафель, как и все остальные. Я уже махнула на это рукой.

Они уставились друг на друга, как животные разных видов, встретившиеся в одном поле. Секунду-другую Виктория наблюдала, как они с трудом ищут общий язык, потом подошла к Хелен.

– Так что вы думаете о предложении?

В конце концов сократить дистанцию между их положениями оказалось куда проще, чем она ожидала. Виктории нужно было учесть налог с наследства. Хелен не нужна была мебель и отделка, но она, по ее словам, готова заплатить, сколько надо, чтобы от них избавиться. «Для меня это скорее инвестиция, – сказала она благодушно, – чем жилье». В итоге по большинству

вопросов они договорились. Виктория вернется в Далстон с небольшой прибылью и таким же маленьким багажом, с каким приезжала; вернется к старой жизни и будет отчаянно скучать по всему, что обрела здесь на первых порах, и гадать, что же это было или почему она от этого отказалась. Она понимала, что сейчас надеялась на некую преемственность – на ощущение, что не столько продает дом, сколько передает его дальше. Но с Хелен не могло быть ничего, кроме деловой транзакции.

В «У Бетани» ужин из индейки с брюссельской капустой и жареной картошкой шел по пять фунтов пятьдесят пенсов. На стене рекламировалось мороженое «Келлис оф Корнуолл», а музыка напоминала Виктории совершенно ужасные ночи в Луишэме в девяностых. Зато вайфай работал, и горячий шоколад ей понравился, и в обеденное время за стойкой часто стояла сама Бетани, говорившая: «Спасибо, счастливо» уходящим покупателям, повышая голос на последних слогах, чтобы превратить интонацию в прощальную. Иногда, глядя им вслед на погоду, она передергивалась и тихо добавляла: «Уж лучше вы, чем я!» Не Перл, но человек все же хороший.

В тот день Виктория начала сортировать вещи, которые не хотела бросать перед переездом в Лондон, – свои, матери. В последней категории она наткнулась на небольшой блокнот из семидесятых, шесть на девять сантиметров, слабо разлинованная тонкая бумага в тонкой же кожаной обложке, со стильными тиснеными золотом краями и карандашиком в корешке; такие можно раскопать на блошином рынке в Ладлоу или Черч-Стреттоне – штучка, которую в течение поколения-другого никто в глаза не видел и в руки не брал. Все страницы, кроме одной, были пустыми; а поскольку перед ней несколько страниц было вырвано, текст как будто начинался с полуслова:

> «…но с тех пор, как я приехала, мои ужасные старые ногти не растут».

Виктория, вдруг почувствовав себя очень странно, выронила блокнот на кровать. Подошла к окну, где оперлась на подоконник и выглянула. Вернулась к кровати, снова к окну: на лужайку лил дождь.

«Уже пять месяцев, – писала ее мать. – Я не стригла ногти пять месяцев. Я думала, со мной что-то случилось. П. говорит, это от хлорки в бассейне. Хлорки там не жалеют. Или это я просто ошибаюсь. Но в туалете я заметила, как она сама смотрит на свои ногти, а увидев меня, закрыла дверь. Она мыла руки. Мыла между пальцами. Ничего такого не случилось, сказала она. Ничего. И

закрыла у меня перед носом дверь туалета».

И немного ниже:

> «Как можно ошибиться, когда я последний раз стригла ногти? Но в остальном она права. Потому что, пока у меня есть П., ничего такого больше не случится».

Виктория отнесла блокнот в туалет и бросила в унитаз, и следом, прежде чем успела опомниться, опустошила на него желудок. Закрыла крышку, и смыла, и смывала, пока ничего не осталось.

Она представляла себе мать: как она одна на втором этаже разглядывает пересекающиеся линии на ладони; включает в спальне свет в три ночи, чтобы выписать один из любимых стихов, «Мир» Руперта Брука; строчит в абсурдном блокнотике почерком усталым, торопливым и со стороны – малость инфантильным. Или, например, осторожно разглаживает фотографию с собой и отцом официантки, которую хранила сложенной в своей хитроумной комбинации сумочки и кошелька. Тогда фотография, предполагала Виктория, была еще не такой выцветшей. В рассеянном свечении бара за спинами фигур по-прежнему можно было разглядеть третью – побелевшую и засвеченную, ростом выше их обоих, – хотя не настолько, чтобы сказать наверняка, мужчина там или женщина.

Без конца вытирая рот, она написала Шоу: «Как вообще можно знать людей? Для меня она была просто старомодной, слишком нервной, чтобы жить, причем задолго до ее брака или моего рождения. Из-за этого я на нее так злилась, что даже не пошла на похороны».

Она села на кровать и уставилась на половицы между ног.

Гадала, чем он занят на Рождество, и думала ему позвонить и предложить приехать, и даже уже взяла трубку. Но что сказать человеку, которого видишь раз в месяц? «Просто быстренько звоню тебе между сдачей крови и стрижкой. О, бог знает. Бирмингем или еще где». Вместо этого она наблюдала, как пишет: «Я так устала». И – сама того не ожидая: «Зима в незнакомом доме! Все эти годы я была готова убить за такое место. Я даже не понимаю толком, что имею в виду».

Хоть она вдруг занервничала из-за мысли о сне, все же уснула.

Проснувшись – ото сна, в котором ее кто-то звал, – она обнаружила, что вышла луна и прекратился дождь; она не знала, который час. Спустилась и села за кухонным столом, накинув кардиган на плечи, думая, приготовить себе что-нибудь поесть

или просто пойти обратно спать. Включила радио, но новости были так себе. Было два часа ночи, и, хоть она чувствовала весь город вокруг, на улице стояла тишина. За два-три дня до Рождества все-таки ждешь какие-никакие празднования. Она пила чай, когда услышала, как голос недалеко за спиной произносит:

– Вита?

Она выглянула в сад, где на верхней лужайке косо лежала тень розовой арки от лунного света. Там стоял силуэт. Спиной к дому. Она постучала по стеклу.

– Уходите! – крикнула она. – Что вы там делаете! – Но сама и так уже знала. Силуэт встал в полуобороте, затем, словно не двигаясь, приблизился к арке и поднял руку, коснулся двух-трех робких зимних бутонов, повернув при этом белое лицо к Виктории. Силуэт ждал ее.

– Не смей! – крикнула Виктория. Снова постучала по окну, выбежала к задней двери и рассерженно выглянула. Сперва сад показался пустым. Уже не тем, чем был. Снаружи было теплее, чем в доме. Так тепло, что почти как в июле. Так тепло, что если бы она вышла, то куртка и ботинки не понадобились бы. Луна озарила розовую арку, – словно слишком маленькую, слишком далекую, слишком похожую на картинку в книжке.

– Подь, Вита, – подозвал силуэт мягким коварным голосом.

Вот он пригибается под аркой; а вот он уже снова на лужайке, и все снова вытягивается слишком далеко, и тени на траве слишком длинные. Смены перспективы выглядели текучими, органичными, не требующими усилий, словно Виктория обрела новый способ смотреть на мир. В то же время они были столь же разрушительными и преображающими, как не требующие усилий рвота и горячка при болезни.

– Подь, девочка.

– Это ты, Перл? – окликнула Виктория. – Это ты?

Лужайка напоминала зеленый пруд в летнюю ночь. Не слишком большая, не слишком маленькая; и выглядела как поверхность, по которой нельзя ходить. Гладиолусы по соседству с огромным алтеем и благоухающим ночью левкоем изгибались над гладкой почвой, словно росли из воды. Несмотря на дома по бокам, на Викторию нахлынуло такое чувство уединения, что ей было легко почти полностью раздеться.

– Вита! – позвал голос. – Виктория!

Лужайка под розовой аркой начала сгущаться, плескаться и изгибаться. Залоснилась. Плотно бликовала под лунным светом: теперь Виктория слышала, как за аркой тихо шумит вода. Там проблесками мелькали стрекозы, которые охотились над травой! Не задумываясь – но и нисколько не торопясь, – она разделась до

конца и, ни разу не оглянувшись, опустилась в лужайку и поплыла к другой стороне, где села под аркой на протертые и скользкие ступени в ароматах роз и левкоя, слушала воду, ненадолго всмотревшись в нижний сад и в сгущающуюся тьму.

– Вот что случилось с моей матерью? – спросила она у ожидающего силуэта мягко, почти печально. Задумалась обо всем прекрасном, что утратит, но и обо всем, что может обрести; и спустилась по ступеням.

– Те, кто желает быть чистым, – произнес голос, – да будут чистыми.

В конце концов Виктория услышала, как сама сказала: «Отправь меня в воду», – а потом – ничего.

18
Адаптивная интрогрессия

Через пару недель после приезда Виктории Шоу решил ей написать. Весь тот странный вечер, думал он, они пытались что-то объяснить друг другу, но не смогли придумать как. У обоих в жизни хватало пустот, оба были головоломками, которые никогда не собрать полностью. В то же время в свете всей встречи его нынешний образ жизни показался пробным, но при этом уже совсем не временным: очевидно запоротым. Все, что Шоу мог бы ей об этом сказать, – например, что ему бы хотелось вложиться в себя и дальше действовать с новыми силами, – стало бы слишком большим откровением для них обоих. Не столько об обстоятельствах Шоу, сколько о нем самом. В каком-то смысле это бы стало слишком очевидным признанием – хотя в чем, он и сам еще не понимал. И теперь писал ей:

> «Большое спасибо за „Детей воды“. С нашей точки зрения трудно понять мир Тома».

Это звучало как-то пусто, и он начал заново. «Рад был тебя видеть. Нам надо…» Но так безвыходно уперся в возможности, заложенные в последних двух словах, что вскочил, захлопнул ноутбук и весь следующий месяц пытался выкинуть все это из головы. Вокруг смыкался Лондон. Шоу думал, не переехать ли. Думал, как бы найти новую работу. По ночам ему снилась Энни Суонн, любопытные приключения, которые хорошо начинались – когда у нее беспардонно и дружелюбно задиралась юбка, – но быстро скатывались в куда менее приятном направлении.

Он скучал по вечерам среды с Энни, хоть она тогда и проводила большую часть времени не приходя в сознание. Зато эти встречи одновременно расслабляли и, по-своему уютно, возбуждали. Это, видимо, и отражалось в снах, хоть он так и не понял, на что еще намекает подсознание. Примерно во время стычки в Барнс-Коммон она перестала отвечать на его ночные звонки; вскоре после этого он перестал звонить. Сейчас, придумав записаться в качестве частного клиента, Шоу попробовал снова. Без ответа. «Я просто не понимаю, что тебе или Тиму от меня надо», – с ужасом услышал он начало собственной мольбы и бросил трубку. В два вечера из трех по пути от «Эрл оф Марч» к «Айдл Аур» он стучался к ней. Коттедж стоял темным, а ее как будто никогда не было дома. Потом, однажды вечером, где-то через месяц после их последнего сеанса, из глубины кладбища,

где он задержался порыться в земле у больничного забора, ему померещился слабый свет в окне ее спальни.

Калитка стояла нараспашку, от узкого палисадника крепко пахло желтофиолью и левкоем. Входная дверь была приоткрыта.

Шоу постучался.

– Эй? – сказал он.

Когда никто не ответил, он окинул взглядом улицу, толкнул дверь и вошел.

На первом этаже стоял уличный воздух, его будто впитывали ковры и мягкая мебель. Уличный фонарь выхватывал из темноты крупные предметы мебели; резко падал наискосок на книжные шкафы и зеркала.

– Энни?

Он прошел на кухню, потрогал чайник тыльной стороной пальцев. Не совсем остывший. Судя по ощущению, около часа назад здесь кто-то был. Он повыдвигал ящики Энни, проверяя их на бесшумность и легкость в использовании; открыл новую пачку печенья с темным шоколадом и съел одно. Постоял у лестницы, облизывая пальцы и не зная, что делать дальше. Из спальни ему почудился легчайший вздох, не громче выдоха.

Там были Тим и Энни, тихо двигались на скомканном одеяле на ее кровати. Тим спустил штаны, но еще не разделся. Что бы они ни делали, это погружало спальню в какую-то особую тишину, хотя раз или два, когда он в нее толкнулся, Энни тихо ойкнула. Она смотрела резко в сторону от Тима. Тим смотрел в стену. Их губы шевелились; в тусклом свете прикроватной лампы их кожа приобрела белизну и гладкость свежеотмытой ванны. Это не выглядело сексом для удовольствия.

Шоу встал на пороге. Вдруг он поверил, что в комнате вместе с ними есть кто-то еще, потом в один чистый миг осознал, что это он сам. События его словно парализовали, загнали сознание в древний корень мозга, откуда оно силилось выбраться. Он услышал собственный крик:

– Ой, идите на хрен! Просто идите на хрен!

Пока он скатывался с лестницы, Тим что-то кричал вслед. Голос Шоу узнал, но не язык. Воздух в нижней комнате стоял густым и вязким. Через пару минут он подуспокоился и вышел на улицу. Он чувствовал удивление, но отрешенно, словно только что пережил какой-то неврологический припадок. Изо рта уходил вкус клея. Подняв глаза, он увидел свет в окне спальни; пытался вспомнить, не сам ли его включил. Зазвонил его мобильник, голос в трубке произнес:

– Ли?

Это была Энни.

– Да, – сказал Шоу. – Кто это?

– Ли, ты не должен…

Шоу ничего не сказал. Его губы онемели.

– Алло?

Он положил письмо об увольнении на стол Тима Суонна, оставив себе ключи от офиса для личного пользования. Вернувшись через пару недель, обнаружил, что конверт все еще закрыт и уже покрылся легкой патиной пыли с одновременно вязкой и шершавой текстурой. Стоял теплый день, тихий, не считая плеска волн о борт. Солнечный свет рикошетил от реки, плясал рябью в прямоугольнике на стене, оставшемся от пропавшей карты. Шоу подергал вторую дверь – так и заперта на навесной замок. Пощелкал по клавиатуре, протер экран рукавом. Увидел, что его последняя видеозапись выложена в «Доме Воды» в формате гифки: Энни Суонн, сведенная до неказистой смазанной юбки между цитатами из «Путешествий наших генов». «Денисовские люди топчик, – восторгался под строчкой Елдец121. – Ха ха лол снова первонах лахи».

Шоу наблюдал за гифкой несколько повторений, потом, залогинившись админом, оставил свое сообщение: «ИДИТЕ В ЖОПУ ЭТО ВСЕ НЕ НАСТОЯЩЕЕ».

Мать по-прежнему отказывалась его видеть.

– Живи своей жизнью, – сказала она по телефону, – и хватит быть таким мудаком.

После этого отвечать она не желала.

Администрация дома престарелых, непоколебимая в вопросе частной жизни пациентов, порекомендовала побеседовать с их штатным психологом.

– Возможно, ей кажется, что вам нужно отдохнуть друг от друга, – предположил психолог. Больше он ничем помочь не мог. Он отметил, что мать Шоу самого его поставила в тупик, когда потребовала, чтобы ей над кроватью повесили одну репродукцию из обширной коллекции дома – «Морскую идиллию» Арнольда Бёклина.

– Мы были только рады услужить. Картина все равно больше никому не нравится. – Затем: – Раньше она не нравилась и самой миссис Шоу.

Во всем остальном ее поведение отвечало ожиданиям к ее возрастной группе. Ее память в порядке – сравнительном. Недавно она стала больше участвовать в жизни дома, согласилась на еженедельный приход парикмахера, а особенно – педикюрши, девушки, с которой хорошо поладила. Это видится позитивным развитием.

– Не надо принимать ее слова близко к сердцу, – посоветовал психолог. – Попробуйте еще раз через неделю, может, через месяц. К тому времени она уже все забудет.

– Ничего не понимаю, – сказал Шоу.

– С ними бывает тяжело, правда?

Шоу согласился, что с ними бывает тяжело.

– Что вы имеете в виду под «отдохнуть»? – не отставал он. – «Отдохнуть друг от друга»? Не понимаю, откуда это взялось. Деменция?

– Тут мне на самом деле трудно сказать.

– Маловато от вас помощи.

Психолог улыбнулся; пожал плечами. Шоу опустил глаза на свою руку. Сказал, глядя на неизбежность линий на ладони:

– Иногда я задумываюсь насчет себя.

Обнаженность этой просьбы до того его ужаснула, что он тут же ушел из кабинета психолога и сел не на тот поезд. Река у Стробери-Хилла и Туикенема то пропадала, то появлялась в поле зрения изгибами идеальной лиричности: плавучие дома со стильно состаренным видом, экзотические деревья с начинающими сворачиваться листьями, странные тонкие участки земли, которые можно было бы назвать парками шириной с коттедж, – проблески денег, словно бликующего на воде света. В вагон Шоу при каждой возможности вторгались западные лондонцы, их компромисс возраста с подростковой одеждой казался чуточку расхлябанным, зато оттенки – выверены до ангстрема[14].

Арнольд Бёклин, швейцарский символист, больше всего известный сновидческими изображениями английского кладбища во Флоренции, написал «Морскую идиллию» довольно поздно в своей жизни. На ней три человека – женщина и два ребенка – распластались на скудном, почти затопленном рифе, где едва умещались втроем; а поблизости из воды поднимался по пояс четвертый – возможно, мужчина, а возможно, неопределенно могущественное существо родом из мифов. Их пребывание на рифе кажется нервным и непрочным, позы – неловкими и напряженными. Женщина, стремясь к мужчине, беспечно позволила младенцу упасть в море; а старший ребенок карликового вида, отклячив ягодицы, огромные из-за какой-то деформации позвоночника, словно пытается оседлать ее сзади.

Слишком напряженно для идиллии. Сероватую палитру, необычную анатомию пронизывало ощущение сумбура – неудавшейся аллегории. Шоу заснул с мыслями о взволнованной жестикуляции женщины, об улыбчивом, но на удивление безответном выражении на лице мужской фигуры; его сны

заполнились как человеческими, так и морскими звуками. В два ночи зазвонил телефон. На том конце провода прочистили горло.

– Тим? – спросил Шоу. – Алло?

Когда никто не ответил, он решил зайти в соседнюю комнату и поговорить начистоту.

Со второго этажа слабо доносилась музыка. Лестничная клетка впитала жар дня, и он повис под потолочным окном, густея от дрожжевых ароматов с пивоварни через дорогу. Смутно вспомнив суд над Патриком Ридом, видевшим, как зеленые дети растут всюду, куда бы он ни ссал, Шоу вошел в туалет и пару минут изучал чашу унитаза. Ничего. Он все равно смыл, потом посмотрелся в зеркало над раковиной. Год назад он бы не узнал человека, которого обнаружил там теперь.

Дверь Тима Суонна, тяжелая от противопожарного покрытия и разболтанная на скрипучей петле, стояла незапертой. Внутри горел свет. Шоу встал подальше из-за брезгливости, которую не мог ни скрыть, ни подавить, и окликнул.

– Тим? Эй? Тим, ты там?

В комнате было пусто, хотя казалось, что в воздухе еще растворяются десятилетия жизни разных съемщиков, словно маслянистый осадок в воде: процесс, непрерывный с 1750-х, подпитываемый бесконечностью человеческой нужды. На голых половицах отпечатались в виде неровных темных пятен повседневные предметы – кресло с подлокотниками, односпальная кровать, возможно, газовая плита. Вот и все. Тима не было. Возможно, он вообще здесь не жил, а только за чем-то заходил. Шоу, готовый в это поверить, подошел к окну и поднял желтую хлопковую занавеску. На противоположном тротуаре в сторону Мортлейка уходили двое беседующих мужчин, их большие и прозрачные тени падали на стены пивоварни от поздневечернего городского свечения, которое, хоть и не в силах развеять тьму, разливалось как будто сразу со всех сторон. В остальном Уорф-Террас не сильно отличалась от обычной точки зрения Шоу. Он ожидал чего-то большего.

В углу стояли несколько убитых картонных коробок. Он без интереса их прошерстил – почти сразу обнаружил под каким-то компьютерным хламом, запутавшимся в собственных проводах, три папки «Истлайт», надписанных «Открывая ритуалы», «Морт Лейк» и «Наши отношения с городами суши» соответственно.

Первая была набита старыми чеками и железнодорожными билетами; во второй находилось что-то вроде дневника, набранного с одинарным пробелом на печатной бумаге; третья, резко пахнущая кумином (а под ним – чем-то еще, что Шоу так и

не опознал, хотя заподозрил «Викс Вапораб»), оказалась пустой. Он вывалил билеты и поворошил их на полу – Вустер, Лестер, Грэнтем, Регби. Снова Грэнтем, потом «Бирмингем-Централ». Поездки по Мидленду, уходящие в прошлое на двадцать лет, а то и больше. Шоу наобум пролистал дневник, пока не открыл на случайном месте: «После этого мы наблюдали, как существо уверенно вошло в Барнсский пруд, ни разу не задержавшись и не дрогнув, исчезнув под поверхностью. И все же глубина в пруду не превышала полуметра». На полях кто-то добавил: «Когда они говорят „под водой“, следует понимать, что говорят они не в традиционном смысле. Возможно, так они позволяют себе, насколько могут, сказать что-то еще».

Узнав стиль подачи по «Путешествиям наших генов», Шоу пропустил несколько страниц, потом еще; тут его так внезапно застигло врасплох собственное имя, что секунду-две он не осознавал, что увидел, и потом пришлось отлистать назад. «Бедняга Шоу! – гласил дневник. – Вынужденный верить, что он ни во что не верит, из-за того, что может найти в себе единственную веру – единственное глубокое утешение, – с которой не смеет расстаться: *он всегда был одним из нас*. Насколько же его внимание посвящено поддержанию иллюзии, будто все с ним происходящее невозможно испытать полностью – лишь запомнить и позже истолковать в качестве символа. Его сознание действует не в полную силу, так что ему остается работать только с бесконечным возвращением подавленного».

Тут все в комнате словно пошатнулось, накренилось друг к другу. В воздухе были слабый объективный вздох – звук, что могли бы издать неодушевленные предметы, если бы расслабились, – запах пыли. Шоу встал на колени и закрыл глаза, стараясь дышать, как он надеялся, размеренно. Чувствуя только клаустрофобную отрешенность, какое-то ожидание, словно кто-то наблюдает, когда он что-нибудь скажет или сделает – или поймет, что надо сказать или сделать, – Шоу схватил первое, что подвернулось под руку, и вывалился из комнаты, захлопнув за собой дверь. Воздух в его комнате казался тошнотворным и густым. Он опустил глаза на руки и обнаружил, что взял два ребристых викторианских флакончика и открытку с Линкольнским собором в 1971 году, где с обратной стороны было нацарапано: «Шкатулка, найденная в великих египетских руинах». Снова звонил его домашний.

– Пошел ты, – сказал он трубке. – Пошли вы все.

Он запер дверь, включил весь свет в подъезде и с грохотом спустился на Уорф-Террас, ни разу не беспокоясь, что кого-то потревожил.

Три часа: плоская ночь без звезд, только капелька луны цвета рыбьей чешуи, пара облаков, влажность скорее валенсийская, чем лондонская. Темза поднялась. Шоу шел вниз по течению, пока не пересек реку в Барнсе и не вернулся по северному берегу назад, между жилыми домами и илом, между потемневшими пабами и стенами садов в Стрэнд-он-зе-Грине, туда, где вдоль набережной и у острова Оливера бурлит черная вода, и минут через сорок пять добрался до офиса. Там он нашел не Тима, а Энни, развалившуюся в офисном кресле спиной к двери, с головой под странным углом, словно голова недавно завалилась набок и слишком отяжелела, чтобы ее поднять. Энни уставилась на карту своего брата, приколотую на свое законное место на стене над столом.

Шоу тронул ее за плечо.

– Энни?

Нет ответа.

Ничего похожего на спиритический транс. Она знала, что он здесь, но ее самой как будто не было. Такое сосредоточенное отсутствие произвело свой эффект: Шоу тоже уставился на карту. Тут и там ее забрызгало мелкими каплями крови. Он вспомнил многолюдный гастропаб: картофельные равиоли с лесными грибами; человек, которого он почти не знал, смеялся и перекрикивал шум: «На побережьях рождается больше людей, чем ты можешь себе представить!» Паб он помнил, но не тот вечер. И как бы он ни моргал и ни щурился, глядя на карту, уже не получалось сделать так, чтобы суша и море поменялись местами. От усилий он утомился, но не остановился.

Время от времени Шоу косился на Энни Суонн. На ее щеке блестел пот: кожа под ним, словно оптически очищенная, выглядела старше, чем он помнил. Чувствовалась мягкость, губчатость. Кожа казалась хрупкой и бумажной. Надави пальцем, подумал он, и останется ямочка. А потом медленно разгладится. На поверхности Энни была старой – гораздо, гораздо старше, чем под поверхностью. Она смотрела на карту, Шоу смотрел на карту; суша была морем, море – сушей. Какое-то время так все и оставалось. Потом Шоу почувствовал себя так, словно его освободили – то ли по ее решению, то ли из-за каких-то обстоятельств, неподвластных им обоим. Но свобода от мыслей о карте только подтолкнула его к мыслям о запертой двери: он шатался по кабинету, выдвигая ящики и заглядывая под мебель, чтобы найти, чем ее поддеть. Вскоре Энни сказала:

– Это тебе не понадобится, Ли.

Он удивленно посмотрел на нее. Голова не сдвинулась.

Голос, хриплый и полный жизни, звучал словно откуда-то еще – рядом, но не в комнате, не в ее теле.

– Ли, – повторил голос. Потом булькающий смешок, словно из засоренной глотки, но сколько он ни ждал – больше ничего.

Дверь открылась в замусоренную каморку не больше туалета: средства для чистки на полках; пластмассовые корзины для хранения с прочными замками и прозрачными крышками; комок стиролового уплотнителя из реки, разъеденный и антропоморфный; резиновые сапоги; комбинезон на крючке. Корзины были набиты частями тел: одни – целые и узнаваемые, другие – грубо нарубленные: прозрачные бескровные суставы, безобидные, как недоваренная курица. Шоу почувствовал не более чем недолгое отвращение. Под слабым запахом отбеливателя в воздухе висел еще более слабый запах, который он бы не смог описать словами. Части, когда он их пересчитал, складывались в одного человека. Мужчину. Лет пятидесяти.

Какое-то время Шоу стоял не поднимая глаз. Наконец, не придумав, что еще сделать, пронес корзины через кабинет под надзором Энни Суонн – ее голова, если смотреть не сзади, а спереди, по-прежнему не держалась на шее прямо, – и опустошил одну за другой, все части тела, в Темзу. Он не избавлялся от них ради Энни, думал Шоу: он их распределял. Что бы тут ни происходило, происходило это между Тимом и Энни. Правда ли они вообще брат и сестра? Один из них всегда побеждает, но, видимо, ничего этим не решает. Оба были по-своему безумны; а может быть, одинаково. Шоу выступал в роли некоего свидетеля. Сперва он был им нужен только для этого, а теперь – только вот для этого. Последним в речку отправилась рука, со слегка сжатой ладонью. Когда он ее бросил, пальцы выпрямились, словно в благодарность. Поднималось солнце, серое, но обещая свет. Было ветрено и зябко.

Когда он закончил и вернул корзины на место, Энни уже пропала. Перед уходом она открыла новую страницу в «Доме Воды» – показывая ему, как подозревал Шоу, какое-то последнее, формальное приглашение. Все та же бестолковая тарабарщина во все том же нечитаемом формате. Шоу изменил размер шрифта. «Человеческий эффект бутылочного горлышка», – прочитал он; потом, в нескольких строках ниже: «Ранее неизвестное подвидообразование, возраст – полтора миллиона лет». Кто-то нацарапал ту же цифру на блокноте у компьютера, подчеркнул и добавил вопросительные знаки до и после.

19
Самый дальний берег

Он вернулся домой и впервые спал спокойно с самого переезда в дом 17 по Уорф-Террас, и проснулся полным сил. Он чувствовал себя освобожденным. Чувствовал, что знает, кто он. Он спустился на Мортлейк-Хай-стрит, где на углу с Уайт-Харт-лейн взял себе маккиато и домашнюю гранолу и сидел среди жен Литл-Челси, собравшихся на чай «оранж пеко»; затем поднялся по течению, у кладбища и Тропы Темзы.

Фасады домов вдоль излучины выжигало сильное солнце, преображая щипцы крыш в квадраты и треугольники света, привлекая внимание тут – к алюминиевому зонту над трубой, там – к провисающему телефонному проводу, что-то акцентируя желтым номерным знаком проезжающей «Ауди». Ветер сотрясал лежащие на всем неподвижные капли воды. В другой стороне от реки над собором Святой Марии Магдалены радостно трудились вороны, распадаясь на двойки и тройки, выполняя свой воздушный труд, вдыхаясь в свои сваливания и боковые скольжения вокруг шатра-мавзолея Ричарда Бертона. Только таким утром, думал Шоу, и можно сказать, что в Лондоне свежий воздух. Дальше по бечевнику, между заводом переработки мусора и Национальным архивом, он осознал, что идет на работу. Передумал, решил посетить мать.

– А ты не больно торопился, – пожаловалась она.

Он уставился на нее:

– Ты же не хотела меня видеть. Письмо мне написала.

Она хохотала, пока не поперхнулась.

– Не было такого! – сказала она голосом девушки куда моложе, только сейчас узнавшей о какой-то своей дерзкой социосексуальной оплошности, совершенной под влиянием алкоголя неделю, месяц или год назад. Это было одно из ее самых эффективных выражений. На миг она показалась полной жизни. – Не было такого!

Шоу тоже рассмеялся. Потом вспомнил других ее детей – их, людей прагматичных и с завидными практическими навыками, но почему-то все равно неприкаянных, разбросало за границу, где они неукоснительно и равноудаленно размещались вдоль побережий Канады или Австралии, чтобы никогда в жизни друг друга не видеть. Сколько в мире так и не поладивших сводных сестер и братьев; столько пап в красно-белых футбольных шарфах, снявшихся пятого ноября, лыбясь из неудачно

отпечатанного слайда «Кодахрома», возбужденные и никчемные в свете костра на пляже, на десяток лет моложе своего настоящего возраста: в конце концов это так ее утомило. Поэтому у нее оставалось меньше времени на него. Жизнь была сложной и без малыша Шоу, который следовал за ней – полжизни рядом, полжизни в отдалении. Почему-то это *он* стал позором, а не отцы и сводные братья с сестрами; ежедневной обузой, требующей больше энергии, чем она могла дать.

– Твой отец умер от увеличения селезенки, – сказала она теперь, словно это что-то хорошее.

– Какой из? – спросил Шоу.

– Ты так говоришь, но на самом деле не всерьез.

– Хотел бы я знать о тебе правду.

Тогда она положила руки на колени, отвернулась от него всем торсом и посмотрела в сад.

– Ты никогда не даешь мне рассказать.

– Я спрашиваю. Без конца.

– Ты никогда не даешь мне ответить.

– Что? Тогда ответь сейчас, – сказал он. – Сейчас ты можешь ответить.

– Зачем? – Она пожала плечами. – Это была моя жизнь, а не твоя. Найди себе свою жизнь, засранец ленивый. – После паузы она вздохнула и разгладила юбку. – Хотя бы найди собственных друзей. – Снаружи на свету горели газоны и клумбы; она пренебрежительно отмахнулась от них рукой. – Раньше я любила воду, Джек. Помнишь?

– Кто такой Джек? – спросил Шоу с как можно большей горечью.

– О, а ты не помнишь? Малыш Джонни Джек! Колыбельная? Малыш Джонни Джек, – запела она хрупким мелодичным голосом, – тащит семью на спине весь свой век.

Не помнит, сказал Шоу. Впервые слышит.

– Наверное, ты пела кому-нибудь еще.

После этого они оба замолчали, а потом она заплакала. Шоу неловко положил ей руку на плечи. «У меня есть друзья, – хотелось ему сказать. – Честно». Он пытался рассказать ей что-нибудь о своем знакомстве с Тимом и Энни Суонн, но и сам как будто даже сейчас не мог на них сосредоточиться; да и ей неинтересно, это он видел. Сейчас она была способна максимум на десять минут чего угодно. Через десять минут после его прихода она всегда забывала, кто он, чем ему обязана или зачем он здесь. Сидела, положив руки на колени, и слушала дневное дорожное движение к востоку и западу от дома престарелых.

Теперь она сказала:

– Здесь такой спертый воздух. Не попросишь их что-нибудь сделать? Воняет как будто ушной серой.

Шоу – который в восемь лет испугался собственной ушной серы, потому что от нее пахло «Мармайтом», – ничего такого не чувствовал.

– Я принес нам фильм. – Вот и все, что он нашел ответить. – «Ночные ходы», Джин Хэкмен в роли детектива, которому не хватает эмоционального интеллекта. Думал, можно посмотреть.

Она пустыми глазами уставилась на DVD, оказавшийся у нее на коленях.

– Очень хороший, – сказал Шоу.

– А как же фотографии?

– Ты их только без конца рвешь.

– Правда? Я просто была такой Малышкой Джейни Джек, вот и все. Впрочем, – сказала она словно кому-то третьему в комнате, – кто теперь станет меня винить?

– Мы с тобой оба хорошо пожили, – поймал себя на уверенном заявлении Шоу.

– Ненавижу это место.

К следующему полудню он начал задаваться вопросом, что именно произошло на Брент. Он знал, что это что-то важное, но не знал, чем именно; знал, что это облегчило его кризис, но не знал насколько. Он вернулся туда в обед, но только обнаружил, что берег пуст. Все цепи и тросы, которые привязывали лихтер Тима Суонна к суше, повисли; отлившая вода обнажала заливающиеся очертания корпуса в иле.

Шоу постоял на берегу пару минут, глядя вверх по течению на запутанную географию слияния Темзы и Брент, а потом снова в сторону моста Кью, парящего над собственным белым трепещущим отражением в свете, отраженном от воды. Между этими точками прели в тропическом свете осередки, словно обветшавшие китайские джонки. Вдоль всей реки, теперь осознал Шоу, острова превращались в лодки; а лодки сдавались и, оседая в дальнем конце какого-нибудь зимнего прилива, молча превращались в острова. Такова история любой жизни. Утром и вечером они – еще ни то, ни другое – дрейфовали через разреженный туман плавучими царствами уцененных кельтских мифов, приставали на час-другой к берегу, манили тебя ознакомительными предложениями, а потом в ту же ночь отчаливали, оставляя в твоей жизни пропущенный год и пару баллов «Нектар» за оказанные услуги, о которых ты и не помнишь. Волшебную шляпу. Камень с отверстием. Ожерелье, что, испуская слабый аромат литоралей, рудеральных сорняков и

широкого диапазона беспозвоночных, в том числе нескольких видов пиявок, внезапно превратится в россыпь ракушек.

Раз теперь заодно уплыл и его излюбленный уличный туалет, Шоу тронулся к бару «Террас» в «Уотерманс-Центре», потом вернулся домой с крюком через фирму по аренде, где дал объявление о доме 17 по Уорф-Террас. Через пару дней он нашел новую комнату в Тернем-Грине.

Об и Эмма, оба лет сорока, целую вечность проработали на канале BBC. «Не то чтобы мы там занимались чем-то особо интересным», – сказала со смехом Эмма. Там они давно знали друг о друге, но как-то раз Эмма пришла на маскарад в костюме мистического Агнца Ван Эйка – и завертелось. Они хотели детей, но Эмма не чувствовала себя к ним готовой. Об участвовал в производстве новейшего времени. Он напоминал тощую версию молодого Руперта Брука, с орлиными чертами, малость неземными – малость суровыми – для его возраста. Он играл на пианино и мог целый день напролет слушать Франсуа Куперена – «или что угодно барочное». Оба любили спорт и природу – дикий кемпинг или, в частности, дикое плавание. Об провел парочку несложных больших заплывов: «Но Эм увлекается всерьез, ей неинтересно, если там меньше двадцати километров пешком и восьми километров в воде». У Эммы была привычка поднимать на Шоу глаза, а потом игриво их отводить. «Да что угодно дикое», – подтвердила она со смехом; в то же время казалось, что она не согласна с чем-то основным во взгляде Оба на их отношения, с его глубинным пониманием того, кто теперь такие «Об и Эмма».

Шоу тоже рассмеялся.

– Пятьдесят процентов моих снов – о том, как я не хочу прыгать в текущую воду, – признался он. – Трудно сказать – не то невроз, не то инстинкт самосохранения.

Настало молчание. Эмма посмотрела на Оба.

– Мы первый раз берем жильца, – сказала она.

Они предлагают комнату и, очевидно, право пользоваться их кухней. Для них это что-то новенькое. Что-то вроде эксперимента. Если Шоу еще не сдал свои вещи на склад и их немного, не хочет ли он воспользоваться чердаком? За вайфай они денег не берут. Он хочет оглядеться?

Он бы с превеликим удовольствием огляделся, ответил Шоу.

Комната находилась на втором этаже в задней части дома, с видом над садами на Чизик-Коммон. Сады уже начинали выглядеть по-осеннему. По ночам утешал дорожный шум с Чизик-Хай-роуд. Скоро Шоу обжился, наловчился управляться с кофемашиной «Примадонна» от «Де'Лонги», узнал, какой кофе

предпочитают его хозяева, как загружать посудомойку. Дом был узкий, но достаточно просторный, чтобы пианино Оба не мешало жить; достаточно пустой, чтобы казаться безмятежным. Лакированный паркет пропускал свет единой полосой от заднего сада до эркера в старой передней комнате, по дороге лакируя тут – горшок, там – уголок картины.

– Мне вполне нравится, – говорил Шоу матери по телефону. – Об и Эмма коллекционируют репродукции Равилиуса, а на заднем фасаде у нас вовсю цветет глициния. Эм обещала научить меня плавать.

Чаще всего Эм вставала в пять, гоняла на велосипеде до уличного бассейна в Хэмптоне, чтобы проплыть свои стандартные пару километров; одна она выходила из дома чаще, чем ожидал Шоу. Со временем он обнаружил, что взгляд Оба не столько пронзительный, сколько подавленный, а в те дни – на пике «Брекзита» – это вполне соответствовало курсу BBC. Любая демографическая группа, впервые войдя в силу, выбирает себе типичную физиогномику и язык тела, фенотип, лучше всего подходящий к новым условиям. Все относятся к этому чутко, нервно, рвутся воспользоваться преимуществом или пожалеть, что их лицо не подходит. В течение нескольких недель, обвыкаясь в новом окружении, Шоу бродил по «зловещей долине» плохих костюмов, пальто эдвардианского вида, внезапных улыбчивых гримас и бодрого оптимизма, боровшихся с резиновыми рыбьими лицами и странной жестикуляцией. Он словно жил среди пришельцев. Сперва удивлялся, потом привык. Хватало своих забот. Пришлось признать, что в его жизнь пришел холодный фронт, потом прошел: после него Шоу застенчиво восстанавливал связи; находил работу в интернете – работу в стиле гиг-экономики, к которой привык до кризиса; воссоединялся с миром. Пока что и это было непросто, и не стоило разбрасываться силами.

Осень перешла в зиму. Он меньше пил. Возобновил прогулки, рано вставал, ехал на метро из Тернем-Грина в Уимблдон, бродил туда-сюда по парку, от склона к кислотному склону, от пруда к тайному пруду, меж голыми деревьями и полированными корнями, на юг через Ворота Робин Гуда в Ричмонд-парк. Фотографировал оленей в дымке в шесть утра; потом ел сэндвич с беконом среди собачников у фургона на прудах Пен, пока над деревьями вокруг балетной школы прояснялось небо. Изучал окрестности. В целом мысли его не занимали. Они проходили сквозь него с легкостью и без последствий.

Однажды по дороге домой он срезал через Старое Мортлейкское кладбище. Там к обеду было холодно, а краски –

резкими, какими в тот день больше не будут. Оно оказалось меньше, чем он помнил, – скорее сад с забором, чем кладбище. Декабрь словно проник во взаимоотношения могил и тропинок дополнительным измерением, зафиксировал их в исторической конфигурации. Слева от Шоу стоял пустой и закрытый дом медиума: из палисадника на дорогу кренились две-три таблички риелторов. На скамейке перед домом ел сэндвич с копченым лососем мужчина – ближе к преклонному возрасту, в промасленной хлопковой куртке поверх темно-синего гернсийского свитера, в желтых вельветовых брюках. Лицо у него было гладким и розовым, голубые глаза – слезящимися, но все еще мальчишескими. Между ног присели две маленькие черно-белые таксы на одном поводке.

Шоу замешкался перед ним и спросил:

– Мы с вами незнакомы по сеансам?

Мужчина пусто уставился на него и продолжал жевать. Улыбнулся и обратился к собакам, которые сидели наготове, преисполненные надежд:

– Нам всем надо есть, – поддразнил он. Потом перевел взгляд на Шоу: – Вы согласны?

Шоу, не понимая, о чем его спрашивают, не смог придумать ответ.

– Я обедаю, как и все; это магазинная еда, но часто вкусная. Я прихожу сюда и читаю книгу. Обедаю.

– Просто подумал, что мы с вами уже встречались, вот и все.

– Сегодня, как видите, это «Дети воды».

Он мельком показал Шоу книжку, помятую и с рваной обложкой, и задумчиво, но без разочарования добавил:

– Мне она нравится меньше, чем я надеялся, – впрочем, как и любое детское чтение.

Убедившись, что у Шоу нет ответа и на это, он продолжил:

– В этом месте творится поразительный вандализм. Они поднимаются по ночам от реки, чтобы чинить разрушения. – Потом, словно говорил в общем о мире: – Под угрозой все, что не прибито. Многие дешевые викторианские надгробия всего лишь стоят на плоском камне. – Затем, с извиняющимся видом пожав плечами перед собаками, он сунул остатки сэндвича в рот. – Я всегда вытираю руки предоставленной салфеткой, – сказал он Шоу, протягивая ему и салфетку, и упаковку от сэндвича.

Шоу взял их и пошел к мусорке, задержавшись по пути, чтобы взглянуть на опрокинутые кресты и ангелов. Они стояли так, словно их толкало что-то яростное, но без особой опоры; такая сила, для которой навсегда останутся непреодолимыми основательные предметы, твердо установленные в землю. Он

встал под падубом у забора психиатрической лечебницы. Из черной грязи у мысков «конверсов» выжалась вода. Вокруг валялся недоеденный мусор. Среди палой листвы и лент флориста валялась на боку красная лейка. Когда Шоу огляделся вновь, на кладбище он был один, хотя лай собак все еще откуда-то слышался. В одном из верхних окон коттеджа медиума быстро отразился свет с севера и востока, словно его только что закрыли.

Дойдя через полчаса до Хаммерсмитского моста, поражаясь количеству пространства, замкнутого между берегами реки, Шоу гадал, не передумает ли сейчас и не отправится ли пешком к Кью – но все же перешел мост и двинулся в Тернем-Грин, где нашел Оба, который вернулся домой пораньше и репетировал на пианино «Таинственные баррикады» Куперена в длинной и тепло освещенной комнате первого этажа, пока Эмма сидела и перебирала гирлянды, глядя на все уголком глаза и посмеиваясь.

Рождественский день он провел с матерью в доме престарелых. Она выглядела старше, сидя у окна в своей лучшей юбке и положив руки на колени. Ему хотелось показать свой новенький «Айфон», купленный по рекомендации Эммы.

– Эмма знает толк в телефонах, – объяснил он: и в самом деле, она была из тех, кто знает толк во всем толковом. – Вот ее фотография с Обом на заднем фоне. – Эту он снял случайно, когда пытался сделать на телефоне что-то другое. Об выглядел неловко, как выглядит любой, кого застанут, пока он тянется за ножницами; Эм, как всегда, была совершенно фотогенична, в идеальной позе, уже на полпути к тому, чтобы стать образом себя, но все же всегда сберегая что-то про запас – то, чего никогда не увидит ни камера, ни зритель. Об и Эмма ценили Рождество, хотя в сам праздник дома их не будет – потому что они всегда проводили его у родителей Эм в Шропшире? – на берегах реки Северн? Но ведь они и не думали, что он останется дома?

– Там за ними пианино, – рассказывал матери Шоу. – Мы его украшали падубом.

– Уж пианино-то я узнаю, – сказала мать.

Она уставилась на телефон, коснулась экрана, словно привлекала внимание к чему-то настолько очевидному, что не увидеть это может только Шоу, и потом добавила:

– Я рада, что ты наконец пришел в себя.

– Да это просто хорошие люди.

– Вечно ты откладывал самое умное напоследок.

Шоу забрал у нее телефон.

– Да я просто с ними живу, – сказал он. – Об и Эм – просто люди, с которыми я живу.

Он положил руки на ее ладони. Теплые. Кожа казалась бумажной и тонкой. Он легонько их сжал и попытался поймать ее взгляд.

– У меня и правда такое ощущение, что я скоро вернусь в колею, – сказал он. Он всегда надеялся, что такое обещание его обережет. На миг все в жизни показалось не таким уж эфемерным и отрывочным, и он почувствовал, что оставил кризис позади, чем бы этот кризис ни был, и наконец может что-то дать миру. Потом мать отняла свои руки. По ней словно прошла дрожь, будто волна вероятности. Она одарила его своей самой сияющей улыбкой.

– Давай смотреть фотографии! – сказала она.

Но какой толк от прошлого, думал Шоу, в его расплывчатых обещаниях и ветреных галечных пляжах, в его озадаченных собаках неопределенной породы или таланта, которым внезапно отвели пятнадцать минут свободы на мрачном пятачке травы посреди шестидесятилетнего жилкомплекса? Какой смысл в том, чтобы заново изучать отцов – простых, дружелюбных, тупых? Их одержимости и оправдания, футбольные шарфы и отпускные планы, их настойчивость на том, чтобы они стояли перед тобой, а ты говорил или действовал – делал домашнюю работу, учился ездить на велосипеде, собирал модель, – реагировал, роднился и поддерживал их? А превыше всего Шоу не хотелось видеть ее – единственную мать – в расцвете сил, в наряде далекого десятилетия, с рукой на том или ином папаше, дальнем кузене или еще более дальних братьях и сестрах, пока она морщится от фотоаппарата к фотоаппарату, щурится из-за света одного морского побережья за другим. Если сравнить все это с мировоззрением Оба и Эммы – жизнью как забавной, но аккуратной практикой, – то это же, думал он, просто трындец какой-то.

Из-за этой мысли ему вспомнился пассаж из «Путешествий наших генов», где в не самых понятных выражениях и по не самым четким причинам описывалось «единственное повторяющееся взаимодействие, врожденное в людях задолго до того, как они стали собственно людьми. Возможно, оно даже передалось от предыдущей формы жизни: повторяющаяся последовательность ДНК, диморфизм единственного гена в единственной хромосоме, в котором закодировано некое утраченное и только сейчас возрождающееся состояние сознания».

Тим Суонн: вполне себе отец, если судить по одному его постоянному желанию объяснять все вне его головы в категориях того, что творится внутри нее.

Шоу снова был в коридоре. Тут пахло мастикой для пола и

рождественским ужином дома престарелых. Он пинал стул. Когда это не помогло, он зашел в ближайший туалет и, убедившись, что запер дверь, сунул три пальца правой руки себе в горло в надежде поторопить на свет все то, что там свернулось, чтобы оно перестало быть такой простой помехой. Ничего не вышло; а когда он вернулся, мать не просто разорвала множество фотографий и разворотила сами альбомы, но и вдобавок разбила экран новенького телефона – возможно, несколько раз на него наступив, – прежде чем снова сесть, сложить руки, уставиться на репродукцию Бёклина на стене и удалиться на замерзшие берега поведения, которое он так хорошо знал.

– Он же стоит четыреста фунтов, – сказал Шоу.

Она изумленно на него воззрилась.

– И не знаю, что с тобой делать, Лео, – сказала она. – Правда не знаю.

– Я не Лео, – сказал Шоу. – Никого на свете, блин, не зовут Лео.

У нее были свои стремления, почему бы не быть стремлениям у него? Он наконец задумался обо всем том, чего хочет, и спросил себя, получит ли это когда-нибудь. Подобрал «Айфон», нежно коснулся покрытого звездами и податливого экрана; потом вышел. Все поддавалось слишком легко.

– Господи, – окликнула она вслед, – вечно тебе все не так. – Потом: – Так и не научился принимать мир как есть, – и наконец: – Сегодня Рождество! Сегодня Рождество!

До дома он взял «Убер», в районе Мортлейка поссорился с водителем из-за политики и, выйдя в бушующий оранжевым и розовым закат, решил пройти оставшийся путь до Тернем-Грина через Чизик.

Было холодно. На полпути через Чизикский мост Шоу наклонился над парапетом и посмотрел на север и на запад. Выше по течению зимний свет рикошетил в воду от рваных краев туч под удивительным углом, делая воздух между темнеющими берегами каким-то архитектурно сложным, но прозрачным. Через пару минут Шоу услышал колокола – видимо, какая-то вечерняя служба в соборе Святой Девы Марии на большой улице, – хотя на миг померещилось, что звон исходит от самой воды.

В уюте дома Эм и Оба он затеял себе чай; пока ждал, когда закипит чайник, нажал на пару клавиш пианино. Включил телевизор, потом выключил. У него в комнате было тепло. Здесь он комфортно прожил с осени до зимы. Время растянулось. Вчера, перед тем как сесть на поезд из Юстона в Шрусбери, Эмма сплела вокруг чистого викторианского камина гнездо из

старомодных китайских фонариков. На полке над ними стояла рождественская открытка для него – линогравюра в стиле 1920-х с мельничным желобом и чистой пеной на темной воде. Все приходит и уходит; и придает тебе форму, нравится тебе или нет. «Хорошо, если бы у тебя здесь были свои вещи, – вспомнил Шоу совет Эммы вскоре после его переезда. – Не просто наша старая ерунда для жильцов. У тебя же есть свои вещи, правда?»

Прислушавшись к совету, Шоу принес с чердака пару безделиц, начав со своей библиотеки (в нее теперь вдобавок к «Воришке Мартину» входили «Дети воды» и «Путешествия наших генов»), которую расставил в алфавитном порядке по фамилиям авторов на полке над кроватью; а затем перешел к вещам, чью функцию определить было уже труднее. А еще поставил на столик у окна недавно купленный «Макбук Эйр», за который его расхвалила Эмма:

– Вот видишь! Ты можешь даже работать из дома!

Теперь он сидел, попивал «Ассам» второй заварки и ел имбирное печенье, пытаясь вспомнить, откуда у него вообще пепельница с лошадками. Он ведь даже не курит. Еще была красная пластмассовая шкатулка пять на пять сантиметров, пустая. Набор открыток, перетянутых древними резинками и адресованных незнакомым ему почерком неизвестным ему получателям. Маленькая пыльная керамическая брошка в форме розы. На что ему такие вещи? Он не мог и дату их определить, не то что привязать к собственной истории. Словно всю жизнь собирал чужие сувениры. Гордостью коллекции была серебряная рыбка, которую подарила Виктория Найман сразу после его переезда в дом 17 по Уорф-Террас. Шоу уставился на нее с растущим отвращением. Рыбка – непропорциональная, пучегубая, самодовольная – уставилась в ответ. Письма от Виктории приходили на электронную почту весь год на еженедельной основе. На большинство он не отвечал, некоторые даже не открывал. Сейчас, мучимый совестью, он решил наверстать.

«Здесь очень по-брекзитовски, – написала она в свой первый вечер вне Лондона. – Восемь пабов на квадратную милю и глубокие чащи вокруг».

Далее следовали описания: городка, не убиравшего рождественские гирлянды год напролет; городка по соседству, заработавшего кучу денег на Промышленной революции, но «потом – не особо»; ее дома – ее «красивого дома с красивой лестницей», где она обходила большие пустые комнаты в восторженном трансе. Это первоначальное хорошее настроение держалось два-три месяца – «Обожаю сундуки для одеял!», «Никогда не думал, что падуб просто до нелепого высокий?» – но

скоро она стала такой же неприкаянной, какой ее запомнил Шоу, весь день проводила в дороге и одиночестве, проезжала по восемьдесят километров до антикварного магазина или обновленного викторианского сада.

«Зато не засиживаюсь дома, – объясняла она. – Встречаюсь с людьми. Они мало что говорят, но все-таки встречаюсь. Можно подумать, проще купить собаку».

Юмор перерос в иронию, ирония скатилась обратно в какой-то сковывающий самозащитный вымысел, быстро прокладывающий расстояние между ней и всем, что она находила. «Но, судя по трактор-порно на верхней полке у газетчика, я могу быть где угодно в Брекзитании». Или: «Почему под падубом валяются яблоки? Падалица под падубом! Наверное, я никогда не понимала глубинку». Одни истории он понимал; другие, хоть и казались простыми, трактовке не поддавались. «Говоришь себе: „Долина не такая уж зловещая“. И это же правда, да? А значит – в ближайший городок, что-нибудь покупать!» Она начала ссылаться на письма, которые он не получал. Ее выражения стали такими же неопределенными, как и ее ситуация, она ни с того ни с сего спрашивала: «Что ты обо мне подумаешь теперь?» Скоро это уже выглядело гигантским обвалом уверенности в себе. К концу ноября она потеряла хватку. Подслушала разговор двух женщин в кафе и из-за этого задумалась, «закончится ли сейчас мир или выберет какое-то простое, красивое, изумительное направление». Через неделю-другую пришло сообщение в одну строчку:

«Это хороший городок, но в нем что-то происходит».

И все. Шоу ничего не мог понять. И все-таки чувствовал себя обязанным написать ответ. «Кажется, прошла тысяча лет с тех пор, как ты приезжала и мы были вместе», – начал он. Потом, удалив первый вариант: «Прости, что не был на связи».

Слишком много рассказывать. С чего начать? «У меня такое ощущение, будто я тебя бросил. Такое ощущение, что я должен перед тобой объясниться». Виктория, знал он, ответит на это более-менее ироничным смешком. Очевидно, бросили они друг друга. Но не мог же он воссоединиться в одиночку – а без ее помощи оставалось только пытаться объясниться. Скоро он написал: «Я никогда по-настоящему не знал, кто я такой», – и затем его уже было не заткнуть. Когда он оторвался от письма в следующий раз, была полночь, он ничего не видел в саду. Тернем-Грин затих, не считая праздничных воплей со стороны баров на Чизик-Хай-роуд; единственное, что он слышал кроме них, – спорадическое жужжание, вроде бы от «Мака». Он проголодался.

«Ты правильно про меня говорила. Я всегда жил в панике».

Он и не помнил, когда впервые всплыла эта тема. Казалось, что очень рано в их отношениях, в каком-то пабе. Теперь он видит проблему так, писал Шоу: до кризиса он слишком точно знал, кто он такой. В нем был настолько понятный стержень, что ничего внешнего для придания формы ему никогда и не требовалось. Шоу был так уверен в себе, что мог отвергнуть что или кого угодно – даже если человек ему нравился и был нужен – ради чего-то нового. «На это я всегда мог положиться. Но потом усомнился». Что происходит в первый раз, спрашивал Шоу, когда таким вот образом теряешь равновесие и задумываешься, чью жизнь вообще видишь? «Может, – закончил он, – в этом всегда и было дело – не только у меня, но и вообще у всех. Мы все когда-то об этом задумываемся, но никто не знал почему».

Он перечитал, добавил: «В общем, а у тебя там как?» – потом уставился на почтовый ящик, пока рулетка мира крутилась между «удалить» и «послать».

Остановилась на «послать»; но ответа он не получил, ни в тот день, ни в следующий. В каком-то смысле он его и не ждал. Прошло Рождество. Западный Лондон ощутил настойчивое приближение очередного года – развернулся встретить его на полпути, пока над рекой туда-сюда носило дождь. Декабрь понемногу перетек в январь. Зима понемногу утекла в начало весны. Шоу снова написал. «Дорогая Виктория, я часто задумываюсь, как ты поживаешь». И тут никакого ответа. На третье или четвертое прочесывание писем он нашел ее адрес. Как только распогодится, думал он, он отправится туда, в сердце страны, в города суши, и узнает, как она.

notes

Примечания

1

Перев. А. Соколинской.

2

От Эстуарий (лат. *aestuarium*) – бухта моря, судоходная лишь во время прилива. Однорукавное воронкообразное устье реки, впадающей в океан или море. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А. Н., 1910. (*Прим. ред.*)

3

Эпистемология (от греч. *знание и слово, учение*) – термин, употребляемый для обозначения теории познания. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. 1983.

4

Терраса – вид жилой блокированной застройки в Великобритании XIX века, когда однотипные малоэтажные здания стоят вплотную друг к другу вдоль улицы Уорф-верфь. (*Прим. перев.*)

5

Понятие из психогеографии, предложенное в 1956 году Ги Дебором. Означает беспорядочные прогулки и исследования городских объектов с точки зрения эстетики и личного интереса.

6

В Греции обнаружена обнимающаяся доисторическая пара (*фр.*).

7

Virgin – девственный (*англ.*).

8

Майра Хиндли и Иэн Брэди – убийцы, совершившие серию убийств на болотах в 1963–1965 гг.

9

Уголовная ветвь правосудия Великобритании, учрежденная в 1971 году.

10

Савояр (фр. *Savoie*, Савойя) – житель Савойи: странствующий по Франции с учеными сурками или шарманкой. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А. Н., 1910.

11

Каркасном (от нем. *Fachwerk,* от *Fach* – панель, секция и *Werk* – сооружение).

12

В кельтском фольклоре боярышник считался порогом между мирами и обиталищем фейри.

13

Перев. О. Мухина.

14

Ангстрем, обозначение Е – вышедшая из употребления единица длины, равная 0,1 нм (нанометра). Ее использовали для выражения длины световых волн и ультрафиолетового излучения, а также расстояний внутри атомов и молекул.